

всепи́рная исто́рия в ро́манах

Владислав БАХРЕВСКИЙ

ВАСИЛИЙ ШУЙСКИЙ



Всемирная история в романах

Владислав Бахревский

**Василий Шуйский,
всея Руси самодержец**

«ВЕЧЕ»

2020

Бахревский В. А.

Василий Шуйский, всяя Руси самодержец / В. А. Бахревский —
«ВЕЧЕ», 2020 — (Всемирная история в романах)

ISBN 978-5-4484-8479-7

Когда жив был царь Иоанн Грозный, боярин Годунов пугал князя Шуйского, что коротка у государя любовь к верным слугам, «короче заячьего хвоста»: кого царь возвысил, того через два-три года отправит на казнь. Шуйский слушал да отмалчивался. Не любил он за государевой спиной вести крамольные речи, не любил интриг. Но когда приходит Смута, тут уж не получается остаться в стороне. Как ни старайся, а замараешься. Будешь и лгать, и хитрить, и думать только об одном – как бы грех убийства не взять на душу. Не замарал руки в крови – уже, считай, повезло...

ISBN 978-5-4484-8479-7

© Бахревский В. А., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Об авторе	6
Служба Великому Государю Ивану Васильевичу Грозному	8
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Владислав Бахревский

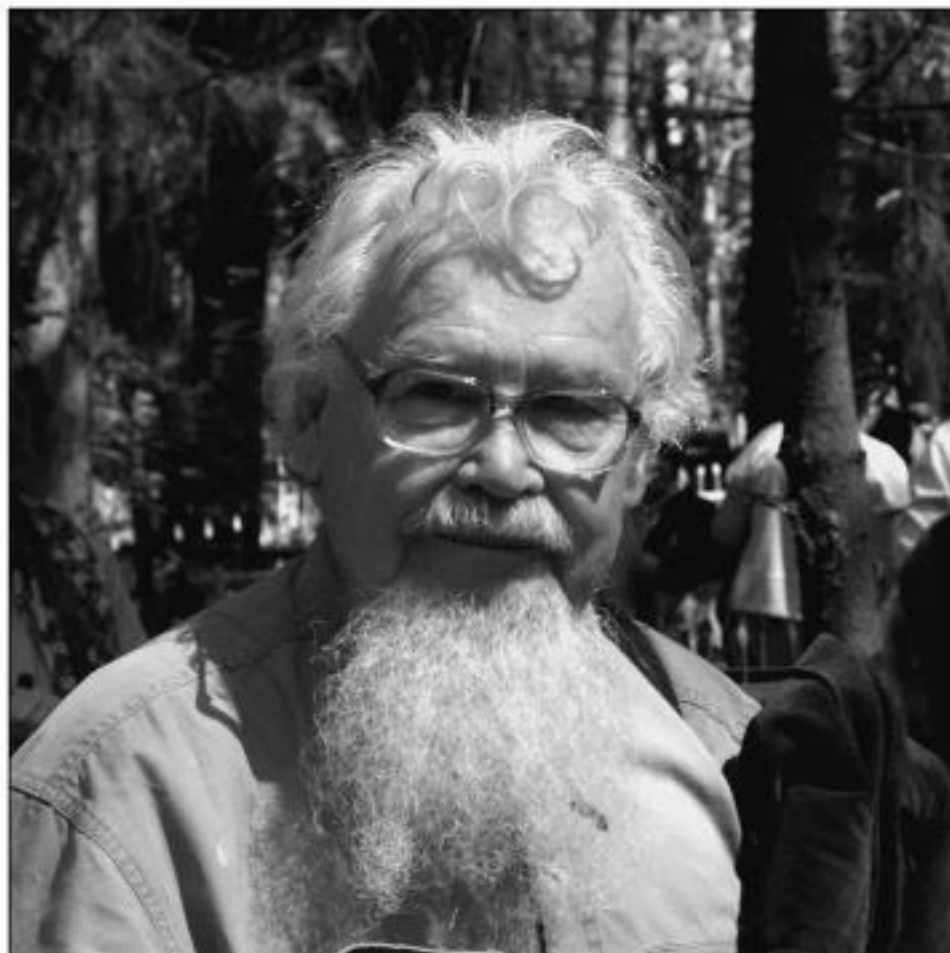
Василий Шуйский, вся Русь самодержец

© Бахревский В.А., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

Сайт издательства www.veche.ru



Владислав Анатольевич Бахревский

Об авторе

Владислав Анатольевич Бахревский – прозаик, поэт, член Союза писателей СССР – родился 15 августа 1936 года в Воронеже в семье лесничего. После Великой Отечественной войны родители вместе с сыном часто переезжали, «кочевали по лесным кордонам» Горьковской и Рязанской областей.

С 1948 года будущий известный автор жил в Орехово-Зуеве, учился на литературном факультете Педагогического института (ОЗПИ), руководил созданным им литературным кружком. Много позже (2001) возглавил Орехово-Зуевское литературное объединение «Основа».

В 1975 году переехал в город Евпатория Крымской области, где оставался 11 лет, но после очередного переезда не порывал связей с Крымом. В декабре 1990 года, вместе с другом и соратником писателем А.И. Домбровским активно участвовал в создании Союза русских, белорусских и украинских писателей – нынешнего Регионального Союза писателей Республики Крым.

Опыт жизни в разных регионах, а также многочисленные поездки по просторам бывшего СССР нашли отражение в творчестве автора. География путешествий получилась широкая: Карелия, Сибирь, Камчатка, Сахалин, Алтай, Туркмения, Киргизия и не только.

Сразу после окончания института (1958) работал в Сакмарской районной газете (Оренбургская область), но очень скоро нашёл себе применение в изданиях, имевших литературную направленность – в редакции журнала «Пионер», «Литературной газете». Активно сотрудничал с журналом «Мурзилка», газетой «Пионерская правда».

Писательским дебютом стала автобиографическая повесть «Мальчик с Веселого» (1960). Впоследствии опубликовал много детских книг, в том числе «Кружка силы» (1969), «Дорогое солнце» (1972), «Футбол» (1984), «Василько и Василий» (1986), став одним из активнейших авторов в издательстве «Детгиз».

И всё же настоящую известность писателю принесли не произведения для детей и юношества, а исторические романы: «Тишайший» (1984), «Никон» (1988), «Долгий путь к себе» (1991), «Василий Шуйский» (1995), «Смута» (1996) и другие.

Книги «Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и «Столп» составили знаменитый цикл, «пятикнижие». В нём писатель исследует важнейший период русской истории XVII века – период раскола Русской церкви. В 2011 году по мотивам этого цикла был снят сериал «Раскол» режиссера Николая Достала. Позднее к этому же циклу стали относить роман «Боярыня Морозова».

Истории Русской Православной Церкви начала XX века посвящен роман «Святейший патриарх Тихон» (2001). Автора на создание этой книги во многом вдохновила биография деда по отцовской линии – священника, погибшего в лагерях.

В середине 2000-х годов в толстых журналах был опубликован роман «Царская карусель», посвящённый Отечественной войне 1812 года и нравам русского общества до войны. В 2019 году этот роман впервые выпустило в твёрдом переплёте издательство «Вече».

В 2020 году в том же издательстве в серии «Духовная проза» вышла первая полная публикация диалогии об Александре Булатовиче – русском офицере, исследователе Эфиопии, религиозном деятеле.

За годы литературного творчества автор написал и опубликовал более 40 книг: романов, повестей, сборников рассказов и стихов. Также известен своими усилиями по поддержке новых и малоизвестных российских авторов, а также литературного процесса в целом.

Избранная библиография:

«Свадьбы» (1977),
«Тишайший» (1984),
«Никон» (1988),
«Виктор Васнецов» (1989),
«Долгий путь к себе» (1991),
«Василий Шуйский» (1995),
«Смута» (1996)
«Ярополк» (1997),
«Аввакум» (1997),
«Страстотерпцы» (1997)
«Столп» (2001),
«Святейший патриарх Тихон» (2001),
«Боярыня Морозова» (2013)

Служба Великому Государю Ивану Васильевичу Грозному

1

Пепельная от ветхости изба до того раскорячилась, что, кажется, щелкни пастух кнутом – по бревнышку раскатится.

Молодой князь остановил коня и пялился на избу, как на невидаль.

– Кто же тут живет, Елупко? – спросил он наконец управителя села Горицы, окрестных деревенок и починков.

– Вдова-горемыка с детишками.

– И давно вдовствует?

– Да уж третий год.

– Елупко, выведи ко мне вдову со всеми детьми.

Управитель вытаращил глаза, но повеление исполнил проворно. Вытолкнул из развалюхи нестарую еще, одетую хуже нищенки бабу, а вслед за нею выгреб чуть не дюжину полуголых и вовсе голых ребятишек. За детишками, потягиваясь и мурлыкая, вышла из избы пушистая, серая, как дымок, кошка.

– Все десятеро – мальцы! – сказал Елупко. – Коли не перемрут, наплодят нам нищеты... Господи, еще и кошка у них.

Князь спешился, подошел к бабе.

– Благодарю тебя, что хранишь и бережешь детей своих. Как тебя зовут?

– Марья, господин! – сказала вдова, поклонившись. – Не я берегу, Богородица. Березу едим да крапиву...

– А скотина есть?

– Корова-кормилица. На ней и землю пашу, да хлебушек наш за долги взяли.

– Помолись за меня, Марья.

– Я помолюсь, господин, да скажи, как звать.

– Дура! – взъярился Елупко. – То владыка твой, князь Василий Иванович!

– Смилуйся! – сказала вдова, но не поклонилась, а только глаза прикрыла, будто ожидая удара.

– Десять мальцов – десять мужиков, – сказал Василий Иванович управляющему. – Сие богатство наше, а у тебя такое богатство в небрежении.

– От себя, что ли, взять да дать! – огрызнулся Елупко.

Князь на грубость даже бровью не повел.

– Вот, Марья, возьми рубль. Да смотри, не спешит тратить... Ты, Елупко, поезжай в Горицу, привези не мешкая десять мешков муки да пару мешков зерна доброго на семена. Приведи две коровы, десять овец, лошадь. Хорошую, смотри, лошадь! С телегой. И завтра поставьте Марье, детям ее – моему богатству – и кошке-красавице новую избу.

– Эко! – вытаращил глаза Елупко. – Так уж и за день? Как в сказке!

– Не сделаешь по-моему, Марья будет жить в твоём доме, а ты в её... Да гляди, двор не забудь поставить для скотины. Я и в Торице видел три-четыре развалюхи. Пока буду жить на Озере, старое да ветхое прочь! У Шуйских бедно не живут... Холстов привези, не забудь. Чтoб все одеты были.

Елупко пал на колени, шепча краем рта Марье:

– Кланяйся, дурица!

Но женщина стояла обмерев, а молодой князь, не оборачиваясь, сел в седло и поскакал по влажной майской дороге к молодой березовой рощице, за которой озеро и починок*¹. То озеро слыло святым, а в починке жили иконописцы.

Глядя вслед князю, Елупко поднялся с земли.

– Уж не ангел, а сам Господь над тобой пролетел, Марья... Ты за меня молись. Я мог бы и другой дорогой провезти князя. Подобрел-то он от горестей, жена у него померла, не разродилась. – И закричал на Марью: – Где избу тебе ставить, показывай!

– Возле колодца. Далеко до колодца-то ходить... Тут ведь раньше еще два двора стояло. Погорели.

Елупко чесал в затылке, улыбался.

– Говорят: беды кульем валяются, а счастье золотниками, а тебе после бед твоих полный куль счастья. – Поспешил к лошадке своей. – Торопиться ведь надо!

Впервые после горчайшего своего дня ощутил Василий Иванович тепло в груди. Уж так было холодно всю долгую зиму – вставать из-под теплого одеяла не хотелось.

Весной на птиц прилетных, ни в чем не повинных, глаз не поднимал, зеленеющая земля не радовала. И вот теперь, замирая душой, вдыхал он со сладостью, с жадностью запах едва-едва раскрывшихся березовых листочков.

Дорога повела топкой низиной через ручей, и он все смотрел коню под ноги да и выехал вдруг на сухое место, на золотой от одуванчиков лужок, к синему, как око, озеру. И тут соловей запел. То была такая чистая, такая нечаянная трель, что Василий Иванович расплакался.

Наплакавшись, сошел с коня, умылся озерною водою и пошел к починку, ведя коня в поводу, слушая соловья, вдыхая воздух весны. Подходя к околице, уловил, что запахов прибыло. Он знал эти запахи. Радостью детства повеяло, тайной, ибо запахи скипидара, кипарисовых досок, красок были запахами сокровенного.

2

Печь затопили ради великого гостя. Березовые поленья горели светло, долго.

Волны тепла выкатывались из зева печи легкие, вкусные. Светелка, от потолка до пола увешанная, уставленная иконами, золотилась, и чудилось, что здесь ты и сам золотой.

В подтопке мерцали угольки, в печи пламя поднималось и опадало, золотое облако, заполнявшее светелку, покачивалось, являя лики или одни только глаза, поражая сиянием нимбов, благородством порфир.

Князь всякий раз вздрагивал, когда пламя озаряло нечаянной своей вспышкой хозяина дома – древнего Первущу Частоступа. Старец был точь-в-точь как столпники на его иконах, запавшие глаза его смотрели из тех же глубин, что и глаза святых отцов.

– Отчего тебя, дедушка, Частоступом прозвали? – спросил князь.

Старец улыбнулся.

– Порода у нас такая. Ходим скоро – топ-топ! Ежи, слышал, как бегают?.. Частоступы, однако, и ходили торопко, и дело делали скоро... У нас, Частоступов, все такие, старые и малые.

– Ты деда моего знал? – спросил Василий Иванович спроста, но сам-то вспотел под тонкой рубашкой – о запретном спрашивал.

– Андрея Михайловича?.. В Москве у него жил, как не знать.

– Слышал я, недобрый был человек.

¹ Примечания к словам, отмеченным знаком *, см. в конце книги.

– Не верь! – строго сказал старец. – Андрей Михайлович не то чтобы человека обидеть, он лошадей не приказывал погонять, не терпел кнутов. «Ты, – говорил, – накорми лошадь досыта, она и побежит. Человек, наевшись, поет, а лошадь – бежит».

– Славно сказано.

– Как же не славно! У Андрея Михайловича ума было не одна палата...

Над озером пел соловей.

– Хорошо выводит, – сказал Василий Иванович.

– Это молодой. Поживи у нас с неделю. Матерые запоют. Мастера!

Поленья в печи затрещали, осели. В светелке разом потемнело, глянули со стены грозные очи Всевышнего.

– Дедушка, а тебе не страшно Господа писать? – спросил Василий Иванович, пугаясь глаз, и хитрил со старцем, уводил от заветного для себя разговора, чтоб спросить вдруг, выведать потаенное.

– Я пишу иконы помолясь. А уж как, бывало, лик писать, так жду улыбки. Пождешь, пождешь, она и явится. Глазами ее не видно, а душа чувствует: тебе улыбается Господь. Тогда пиши смело. Я лики-то ныне не отваживаюсь прописывать. Ризы и порфиры малюю. Не робею. Ни у кого так богато не получается, а мне Богородица помогает.

– Твои иконы, дедушка, глазам великая радость. А скажи, хоть то дело уж очень давнее, ты помнишь, как Андрея Михайловича... псарям отдали? – спросил, схватясь за кочергу, тыча без смысла и уменя в обуглившиеся полешки.

Тишина в светелке на цыпочки поднялась, и – кап!

Вскинул Василий Иванович глаза, а у Первуши на щеке мокрый след.

– На четырнадцать тысяч младенцев-мучеников, от Ирода в Вифлееме избивенных, приключилась погибель Андрея Михайловича, – сказал старец, перекрестившись. – Царь-отрок перстом на Андрея на Михайловича указал. Возопил, как дикий кот: «Хватай царева обидчика! Зарезать меня умыслил! Рвите его! Терзайте, чтоб до тюрьмы жив не дошел!» Царь-то молод был, а зело хитрый... Сначала ласковым прикинулся, повел Андрея Михайловича собак новых показать... Да и сдал псарям... А псари у него были свирепей собак.

– За что же великий государь подосадовал на Андрея Михайловича?

– Отомстил. За князя Федора Семеновича Воронцова отомстил... Сказывали, Андрей Михайлович схватился с Воронцовым в Столбовой избе, на глазах царя. Воронцов-де на деда твоего непригожие слова в царское ушко шептал. Андрей Михайлович тоже горяч был. Нахлестал князя Федора по щекам, изодрал на нем одежды в клочья да, распалась, вместе с князьями Кубенскими начал бить уж чем попало. Прибили бы, да митрополит вступился... В Кострому потом сослали. Царь и затаил обиду до времени...

– Андрея Михайловича в непомерном стяжательстве обвиняли...

– Того не знаю, – сказал старец. – Правителем он был строгим. Государю Ивану Васильевичу уж тринадцатый годок тогда шел, Андрей же Михайлович не поостерегся... Дедушка твой, царство ему небесное, уж тем был не мил Ивану Васильевичу, что от худых дел всячески отваживал. Иван-то Васильевич в молодые годы собак да кошек любил с башен кидать. Поглядит, из рук своих покормит, в глаза поглядит да и кинет с башни. Коли расшибется животина – ему смешно, а какая не до смерти, ползает – камнями добивал. Иные кошки убегали невредимы, так он сердился, приказывал псарям из луков стрелять. Упаси бог промахнуться – по зубам камнем бил...

– А как же Андрей Михайлович отваживал великого государя от худого?

– Книги священные читать приказывал... Монахов кротких приставлял. Меня привез... Васильевич любил смотреть, как я иконы пишу... На иных, где есть звери да скот, по моим прорезям тех зверей и скотов красками писал.

– Сам Иван Васильевич?

– Сам! Как не сам? Накрасит и глядит – стану ли я охорашивать им написанное. Я, греховодник, лукавил, хвалил великого государя. А он все равно глядит, не верит. Уйдет будто бы, а потом набезит нечаянно... Да я днем не трогал, ночью исправлял, мне и Андрей Михайлович наказывал – не гневить царское величество.

Снова запел соловей. В печи бродили синие огни.

– Послушаю пойду, – сказал Василий Иванович.

– Пойди, князь! Отдохни душой.

– Спасибо тебе, Первуша. Прости, что бывшее потревожил... Мне скоро службу великому государю служить.

– О Господи! Да хранит тебя Богородица! – сорвалось право-слово с губ старика.

3

Земля была темна, а небо, как огромная жемчужина, светилось тихим покойным светом, ни одна звезда не смела перебить этот свет.

Соловьи молчали. Было слышно, как колышется в озере вода: ни всплесков, ни токов струй – озеро дышало.

На берегу белела огромная колода. Василий Иванович подошел, сел.

Темень непроглядная, но жизнь впереди еще темней. Батюшка, князь Иван Андреевич, был воеводой полка правой руки... До воеводы большого полка не дослужился... Большой полк за Мстиславскими, за татарскими царевичами, за родней великого государя. Батюшка службу начал строптиво. Посылал его государь с речью к двоюродному брату, к Владимиру Андреевичу*. Ту речь батюшка сказывал, а вот к Ивану Дмитриевичу Бельскому* сказывать речь не поехал, невместно ему, Шуйскому, быть меньше выскочки Бельского. Силой водили, все равно молчал. Не с награды – с опалы начал службу батюшка. Да через год был уж первым воеводой в Дедилове, через другой – первым рындой с большим саадаком. В Луках Великих воеводствовал, стоял в Серпухове воеводой сторожевого полка, ходил с государем на Ливонскую войну*, в Дорогобуже был воеводой, а потом и в Смоленске. Чином боярина царь пожаловал Ивана Андреевича в тридцать три года. Был первым в Опричинной Думе, а до сорока лет дожить Господь не благословил... Погиб Иван Андреевич в Ливонии, в бою. В один год с Малютой Скуратовым*. Сватьями преставились перед Богом. Последнее, что успел батюшка для рода своего – женил красавчика Дмитрия на Малютиной дочери, на Екатерине.

Небеса померкли, звезды затянуло облаками. В кромешной тьме свистали, высекая сполохи, соловьи, но Василий Иванович тьмы не видел, соловьев не слышал. Раздумался. Еще и служб-то никаких великому государю не служивал, а быстрый разум искал ответ на загадку наитайнейшую. Как при Иване-то Васильевиче, при Грозном, быть первым и чтоб голову на плечах сносить...

Батюшка Иван Андреевич, наставляя детей своих на ум, указывал брать пример с их преславного родственника, с Василия Васильевича Шуйского Немого*. Князь отвоевал для России Смоленск, был первым его воеводой, воеводствовал во Пскове, в Новгороде, воевал с Казанью, посадил там царя Яналея, угодного Москве. Заслоня Русскую землю от татарских набегов, построил крепость Васильсурск, был первым боярином и все помалкивал. Оттого и прозвали Немым.

При дворе Грозного в пору бы всем онеметь, памятуя, что своему любимцу Афоньке Бутурлину, еще будучи юношей, Иван Васильевич отрезал язык.

В том-то и беда: горячо любит царь ближних слуг своих, жалуется милостями щедро, да недолог их праздник, Князю Федору Воронцову, из-за которого псарь растерзали Андрея Михайловича, Грозный отрубил голову; справив свое шестнадцатилетие, в тот же день лег на плаху и князь Иван Кубенский – лютей враг Федора.

За месяц до свадьбы, за две недели до венчания на царство, убил Иван Васильевич друзей отроческих игр: князя Ивана Дорогобужского да князя Федора Овчину-Оболенского. Ивану голову отсекли, а бедного Овчину посадили на кол, всей Москве на обозрение, за рекой, на лугу. Уж что им припомнил? О мученике Овчине-Оболенском в народе быстро смекнули: отец Федора, Иван, был полюбовником Елены Васильевны Глинской, матери царя, уж не брат ли Федор Иванович Ивану Васильевичу?

«Выходит, упаси боже от царской любви!» – подумал Василий Иванович.

Вдруг где-то на озере, на острове, закричала, заплакала птица.

– Поймал, что ли, кто? – поежился Василий Иванович, озираясь на черные, угрюмо при- молкшие дома.

Сердясь на свой испуг, встал с колоды, пошел во тьму, не дрогнув ни единой жилочкой. Воротился к колоде, оперся на нее ногой. Смотрел во тьму, накотившуюся со стороны озера, и в голове его было ясно:

«Царь любимцев своих любит до смерти. Вчера еще Москва ахала: Алешку Басманова*, наипервейшего опричника, без советов которого ни единого шага, кажется, не делал, – казнил. А уж казнь ему придумал – горше и быть не может. Сын рубил голову батюшке. Федор Алексеевич Алексею Даниловичу. На верность ненаглядного испытал: кто дороже, отец или царь? Вот только надолго ли Федор свою голову сберег?

А Афонька Вяземский*? Лекарства царь принимал только из рук Афоньки... По первому же доносу палками до смерти забили. И опять не без игры... Позвал Иван Васильевич князя к себе, из своих рук поил, как птицу, кормил, как кормят любимых коней, целовал, как женщину. Отпустил счастливого. А пришел князь Афанасий свет Иванович домой – все зарезаны, задушены. Все! Родные, слуги, даже кошки с собаками. Афанасий Иванович не завыл, с ума не сошел, сделал вид, что ничего-то в его жизни не переменялось. А царь Иоанн глядел на него во все очи да и приказал отвести на конюшню. На конюшне забили, дознаваясь, где золото свое прячет».

– Двум смертям не бывать. В службу, как в прорубь, – сказал себе Василий Иванович.

Пошарил ногой по земле, нащупал камешек. Поднял, кинул в озеро.

– Сам буду царем, коль не плеснет.

И не услышал плеска. Изумился. Головой покачал сокрушенно. Таких глупых дум батюшка не одобрил бы. Сечь за такие думы надобно до кровавых рубцов. С такими думами недолго царю Иоанну послужишь.

Поспешил в светелку. В постель, в постель, чтоб дурь заспать!

4

Пробудившись, князь Василий не выдал себя, смотрел, как Первуша Частоступ, шепча что-то нежное, младенчески улыбаясь, писал мафорий на Богородице*. Богородица склонялась над предвечным Младенцем, дарила Радости Своей материнский ласковый поцелуй.

– Проснулся? – спросил Первуша, не оборачиваясь.

– Да я и ресницами не шелохнул, как ты услышал, что я не сплю? Научи! – Князь проворно поднялся с постели.

Старец повздыхал, охая.

– Наука моя – старость премудрая, это она все знает, – показал на икону. – Знаешь, как называется? «Гликофилуеса». «Сладкое лобзание» – по-русски.

– Афонская?

– Обретена в Афоне, в морских волнах, возле Филофеевского монастыря. Уж такие времена тогда случились. Император Феофил иконы сжигал, а поклонявшихся иконам предавал смерти. Из Византии приплыла. А написал сию икону апостол Лука.

– Лука и Владимирскую написал, и Одигитрию, и Влахернскую.
– Семьдесят икон у Луки-евангелиста. Семьдесят чудотворных животворящих источников от него, старателя Господнего, пришло нам, грешным.

– Пойду умоюсь, – сказал князь. – А потом помолимся вместе. С детства люблю с тобой молиться.

И они помолились, попели, поплакали.

– Сладко душе! – Василий Иванович троекратно поцеловал старца. – Спасибо тебе, драгоценный мой Первуша.

– Отдали дань Богу, а плоть тоже свою подать требует. Печь я нынче не топил, медом да творогом – обойдемся ли? Ты уж прости меня, князюшко, заработался я, грешный. – И полюбовался на дело рук своих. – Хороший цвет получился. Когда не получается, у меня пусто в сердце, а сегодня тепло.

– Цвет благородный! – согласился князь. – Ты ведь знаешь, чего с чем смешать, чтоб было такое.

– Знать – знаю, но коли на совести хоть пятнышко нечистоты – ускользнет радость. И того положишь, и этого, как всегда, а вот ускользнет. Почитай-ка перед принятием пищи! – положил книгу перед Василием Ивановичем.

То было слово Ефрема Сирина «О душевном страхе».

– «Сидел я наедине в одном нешумном, безмолвном и возвышенном месте, – читал вслух князь Василий, – размышлял сам с собою и перебирал жизнь сию, ее заботы, смятение, молву и, заплакав, стал говорить сам себе: “Почему жизнь эта проходит, как тень, пробегает, как самый скорый течец, и увядает, как утренний цветок?” И опечаленный, вздыхая, сказал я: “Как проходит сей век, мы не знаем. Для чего же по слабости своей связаны делами и помыслами непристойными?”»

Словно о нем было написано, о Василии Ивановиче, князе Шуйском, и не от этой ли светливой пустоты прибежал он сюда?

Но Ефрем Сирийский, святой мудрец, тотчас и показал, что все эти мысли – суета сует и, коли возгнушалась душа небесным своим чертогом, быть гневу Господнему.

Когда вернулся Первуша с медом, с хлебом, с творогом, князь сидел тихий и печальный. Резкая морщинка обозначилась вдруг на чистом его челе от переносицы мимо левой брови вверх.

– Добрую книгу дал ты мне, Частоступ. Да только что нам, знающим, где истина? Разве могу я отказаться от царской службы? Упаси боже! Буду грешить, делать подлости ради чинов и милостей, преумножая славу рода, имение рода, казну рода. Проживу, как все Шуйские. Батюшка мой ради прибыли да скорейшего боярства в Опричнину пошел. Дед мой не убоился на глазах царя-отрока расхищать царскую казну, приобретать на чужих слезах земли и рабов... Что скажешь, Частоступ, писатель святых икон?

– Скажу: Бог будет к тебе милосерден.

– За то, что, зная истину, предпочту жизнь во лжи?

– Бог будет к тебе милосерден, – повторил старец, поливая густым медом творог. – Ешь нашу еду, князь... Мужики затеялись рыбки наловить. Тебя зовут, если есть охота.

– Скажи, Первуша, Агий-то жив?

– Живехенек.

– Не завезут ли рыбаки меня на его остров?

– Отчего не завезут? Скажи им, пусть к ладье лодчонку привяжут, сам к нему догребешь, без посторонних ушей и глаз.

Князь глянул на старца и головой покачал.

– Тебя бы в царскую Думу.

– Да у нас тоже Дума! – улыбнулся Первуша. – Мы в починке на самом порожке Царствия Небесного, нельзя не раздуматься.

Не с пустыми руками отправился Василий Иванович рыбку ловить. Подарил мужикам бочонок двойного вина, лодочку тоже загрузил припасами.

Ветер дул с берега. Рыбаки поставили парус, ладя ходко шла, шлепая днищем о покладистые, попутные волны.

На князя рыбаки глядели улыбочиво, видно, слышали историю о бедной вдове.

– Что ловите-то? – спросил Василий Иванович. – Карпов да карасей?

– Давненько ты у нас не был, господин! – сказал хозяин лады рыбак Стахей. – Позабыл. У нас тут селедочка водится. Такая жирная да вкусная, морю на зависть.

– Я помню, мы карпов ловили.

– Карпы у нас тоже знаменитые. Бессон Окоемов прошлой осенью прадедушку добыл. Чешуи были с ладонь. Верно ведь, Бессон?

Рыжий, с ласковыми глазами мужичок согласно кивнул.

– Сколько же потянул? – спросил Василий Иванович.

– Шибко тяжелый был! А взвешивать – не пришлось. Отпустил я рыбу. Пусть наплодит себе под стать.

– Мудрые вы люди! – похвалил князь и показал на пушистую зеленую дымку лиственниц впереди. – Не остров ли?

– Остров, Василий Иванович!

– Поближе подойдем, я на лодке на остров высажусь, поутру заберите меня.

– А ушица?! – огорчился Стахей. – Окоемов будет варить. Его ушица – янтарю чета.

– С нашей рыбки глаза прятки! – закивал Бессон Окоемов.

– Будь по-вашему, – согласился Василий Иванович. – Заберете меня, как солнце на закат пойдет. Не забудете, где меня оставили?

– Мы по нашему озеру с закрытыми глазами ходим! – сказал Стахей обидчиво.

– Да это я уж так! Знаю, вы рыбаки знаменитые! – поспешил задобрить Стахея Василий Иванович. – А скажи, как Агия найти?

– Остров с версту да с треть версты поперек. Хоромы Агия – землянка, не сразу увидишь. – Стахей почесал в засылке. – Мы тебя, князь, у брусничника высадим. Пойдешь через брусничник и гляди, чтоб лиственницы были от тебя справа. Потом орешник пойдет. Шибко густой, да ты не страшись. Пройдешь орешник, увидишь черную сосну. Молния ударила. Подходи к сосне и гляди по солнцу. Будут три круглых холма. В третьем и есть Агиево жилище.

5

Рассказывал Стахей долго, а нашел Василий Иванович лежище отшельника за четверть часа. Еще ведь две сумы на себе нес.

Агий складывал поленницу под навесом. На пришельца поглядел из-под руки. Роста огромного. Голова – белая, борода черная, отросла ниже пояса. Глаза черны под черными бровями...

«А ведь я знал, как его настоящее имя!» – подумал Василий Иванович.

– Не князь ли? – спросил Агий глухим, как из-под земли, голосом.

– Я сын Ивана Андреевича.

– Должно быть, старший... Василий Иванович.

– Василий Иванович и есть. Благослови, батюшка.

Отшельник издали перекрестил, но сказал твердо:

– Я не батюшка и даже не инок. Архимандрит Лука – я в Шартомском монастыре на послушании был – не благословил. – И удивился: – Сколько ты припер на себе.

– Не всякий же день у тебя гости...

– Гостей не люблю.

– Не в гости я, Агий! За молитвой твоей пришел, за напутствием. На службу скоро, а батюшку моего Бог взял. Ты ведь знаешь.

– Знаю, – сказал Агий. – А пришел ты, князь, все же напрасно. Нет благодати в моей молитве. Три года к Господу взываю безответно. Грешник я, князь. Сатане службу служил.

– Можно поглядеть твои палаты?

– Погляди.

Князь толкнул дверь в землянку. Пахло сухими травами, сушеной черемухой, смолой. Нагнувшись, спустился в жилище. Крошечная печь. Стол с аршин. Нары. Связки трав и ягод под потолком.

– Славная берлога! – сказал Василий Иванович. – Но на воле нынче тоже хорошо. Давай под солнышком пировать.

Принялся доставать из сумы угощенья. Сушеные винные ягоды, нежную семгу, белужью икру, сушеную дыню, яблоки в меду, соленые молоки, ветчину без сала, копченую осетрину, кедровые орешки... Потянувшись рукой в другую суму, достал бутылку заморской романи.

– Матушки вы мои! – ахнул Агий.

– Я с утра не поел, – сказал князь и всплеснул руками, – ни ковшика, ни чарочки я не взял.

– Ковш у меня есть, – сказал Агий и принес из землянки деревянный, грубо выдолбленный.

– Погоди-ка! – вспомнил князь, пошарил в туго набитой суме, достал походный ларец. В нем оказались две серебряные двурогие вилки, два малых кубка, две ложки, два ножа. – Романею лучше из серебра пить: как рубин пламенеет.

Агий принял кубок задрожавшей рукой, припал губами, отведав; пил долго, закрыв глаза.

Закусил винной ягодой, заел лепестком семги.

– Побаловал ты меня, князь! Побаловал! Вот только не ведаю, чем я тебе пригодиться могу? Не ведаю!

– Хорошее ты место избрал для уединения.

– Где бы мне! Место указал твой батюшка. Не сносил бы я головы, когда б не князь Иван Андреевич... Ох, молчи, язык, молчи!

– Не охотник я тайны выведывать, – сказал Василий Иванович, подливая вина Агию. – О батюшке хотел бы спросить, как он служил Грозному царю, как умел не прогневить Ивана Васильевича?

– Берегся.

– Разве другие не береглись?..

– Разум – душе во спасение! Иван Андреевич на сажень под землей видел. Никогда без дела к великому государю на глаза не показывался, не ластился. Но уж что ему приказывали, исполнял со рвением.

«Да как же тебя зовут?» – силился вспомнить Василий Иванович настоящее имя Агия. Агий служил отцу тайные службы.

Вслух спросил, доставая из сумы другую бутылку романи:

– А очень батюшка царя боялся?

Бывший опричник хлопнул ладонями по коленкам:

– Право слово! Неужто не жалко на такого, как я, романею переводить?

– Не жалко, Агий. Ты батюшке моему служил верой и правдой... От кого мне ума набраться, как не от тебя?

– Верно, Ивану Андреевичу служил я не хуже, чем Малюта царю. Наливай, княжич! То, что содеяно, – не замолить, не запить. А все же вкусно винцо! В новгородском походе* попил я романей. – И глянул цепким глазом на Василия Ивановича.

Князь кушал семушку, а скушав, потер пальцы о траву: свое у него было на уме, о том и сказал:

– Поучил бы ты меня, Агий, из лука стрелять. Помню, батюшка говаривал, что ты самого царя удивил своей меткостью.

Агий просиял: лучник он был, каких и у крымского хана нет.

– Я и лук прихватил, – полез в суму Василий Иванович.

– Оставь свой лук! – махнул рукой Агий. – Из моего постреляем.

Принес из землянки совсем игрушечный лук. Сказал ласково:

– Малютка моя.

Наложил на тетиву стрелку, прицелился в доску возле поленицы. Тетива взвизгнула, стрела прошла доску насквозь.

– Ай да сила! – изумился князь.

– Смертная! Гляди, Василий Иванович, куда надо целить да как тетиву натягивать.

Учил, попивая винцо. Последние капли на язык стряхнул. Князь хоть и увлекся пусканием стрел, но увидел, что бутылка опустела, достал еще одну.

– Получается! – одобрил ученика Агий. – Ты понятливый, в батюшку... Ты тоже выпей. Не спьянить же ты меня хочешь... Ох, попил я сладкой романей... Знаешь где?

– Ты сказал: в Новгороде.

– В Новгороде, – согласился Агий. – А сперва я вместе с Григорием Лукьяновичем к владыке Филиппу* ездил, в Отроч-Успенский монастырь... Упаси Бог, в келии не был. К нему Григорий Лукьяныч один заходил... С час уговаривал благословить Ивана Васильевича... наказать мятежников. Архиепископ-то Новгородский Паисий клеветал на Филиппа, угождая царю, когда Владыку из Москвы выпроваживали из митрополитов вон! Тверд был Филипп. На Господа уповал. Вышел от владыки Малюта красный, как рак. Рыкнул на нас, и мы поехали царя догонять... За два дня до Рождества были мы у Владыки Филиппа. Потом уж говорили: задавил его Григорий Лукьянович подушкой. Григорий Лукьянович, служа царю, даже души своей не пощадил. Слава Богу, умер не палачом, а воином, в бою.

– Мой батюшка не намного пережил Скуратова. Григорий Лукьянович голову сложил в январе, когда Пайду брали, а батюшку убили осенью.

– Последний год я не был с князем. Иван Андреевич спрятал меня сразу после новгородского похода. От смерти спрятал. Царь ведь многих побил из наших. Ох, ох! От косоной не убежишь, всех найдет... Мы злодейством мечены. Ты гляди на меня, князь! Гляди! Не черен ли я, как эфиоп?

– Нет, не черен.

– Так может, зелен? Пятна на мне не видишь ли?

– Нет на тебе пятна, Агий.

– Ты, князь, глазами слаб. Ишь, какие у тебя маленькие глазки. Где тебе углядеть. Мы все мечены!.. Напутствия хотел? Так вот тебе напутствие: служи царю-злодею, да злодейством не запятнай, Бога ради, своей совестью... Уж тогда не спасешься, как и я не спасусь.

– Не хочешь ли вина погорчее?

– Хочу, князь! Разбредила меня сладкая романей.

Василий Иванович достал сулею с двойным русским вином. Агий хватил из горлышка, уронил голову на грудь. Князь затормошил его.

– Расскажи, что в Новгороде было.

– Бесовство, князь. Чего ж еще, Содом и Гоморра. Звери так друг друга не терзают, как человек человека... Знаешь, с чего поход-то начался? Никто не знает... Посылал меня Малюта

в Горицкий монастырь за жизнью княгини Евфросиньи*, матушка князя Владимира Андреевича, двоюродного брата Ивана Васильевича. Своими руками утопил я старицу, а с нею двенадцать черниц. Чтоб и слуху про то не было... А уж потом пошли в поход... Сколько мы тогда городов пограбили, сразу и не вспомнишь. Все богатые дома в Клину были наши. Все девы опорочены, их отцы, их матери все зарезаны. Потом в Твери резали и грабили. Не на сотни убитым счет, на тысячи... На Новгород впереди себя Иван Васильевич Зюзина пустил, по городкам, по селениям как метлой шваркнул, чтоб в Новгород никто не ушел, не предупредил. Ладно бы, изменников-бояр, так мужиков побили, а баб, какие на то гожи, ставили вдоль дорог опричникам на утеху... Вышний Волочек, Торжок, Валдай... Господи! Видел белого всадника в иных церквах, с косой? Так знай, мы косили усерднее.

Агий хлебнул горькой, заел молоками, горстью залез в икру.

– Побаловал ты меня, князь... А ты хорошо из лука моего стреляешь! – засмеялся. – Мой лук заговоренный. Он сам собой бьет в цель.

– Ты про Новгород расскажи...

– Про Новгород? Князь, я про Новгород сны смотрю... В праздники Божии бесовство творили. Знаешь, когда в Новгород вошли? На другой день после Богоявления, в воскресенье. Сначала все честь по чести. Царя встречали крестным ходом. Архиепископ Пимен поднес Ивану Васильевичу Животворящий Крест, да Иван-то Васильевич не пошел Крест целовать, сказал Пимену: «Не пастырь ты – волк». Но в собор Святой Софии мы нагрязнули мирно, службу отстояли, за архиерейские столы отобедать сели не шумно. Попили, поели, тут Иван Васильевич и крикнул нам свое словцо. Мы и начали хватать всякого, кто в доме был.

– Какое же словцо у Ивана Васильевича? Агий, мне это словцо ой как надо знать.

– Не дай бог тебе услышать сие из уст Ивана Васильевича.

– Да какое же? Ты уж скажи, мне ко всему надо готовым быть.

– Гойда! Как скажет «гойда» – время хватать и резать... Мы в Новгороде под тем словом были с восьмого января и до тринадцатого февраля... Зело потрудились. Кого под лед, кого к саням привязывали, гоняли лошадей, пока не расшибало бедных. У иного голова отлетит, у кого нога-рука. Смоляным составом обливали, чтоб побегали, горя, перед Иваном Васильевичем, чтоб насмешили... Много чего придумывали... Пимена, архиепископа, на кобыле женили. Государь велел нарядить преосвященного скоморохом. А коль скоморох – получи жену, полезай на нее. Однако не убили. На кобыле с гуслиями в Москву отвезли.

– А батюшка мой, Иван Андреевич, был с вами?

– Ивана Андреевича царь опричинным боярством пожаловал. Как ему было не быть?

– Поднажились вы небось в Новгороде?

– Приехали кто на одной лошадке, кто на двух, а уезжали, имея по двадцать и по тридцать возов. Иван-то Васильевич все церковное добро себе взял, все церкви ограбили, все монастыри...

– А сколько возов было у Ивана Андреевича?

– Князь! В городе, что называл тебе, в Новгороде Великом, дома-то все запустели... Не пропадать же пожиткам. Мы, должно быть, одних нищих и не убивали. Только много ли нищих в Новгороде, где купец на купце? Иван Андреевич – первый боярин Опричиной Думы, меньше ста возов ему по чину не положено... А сколько увез... не знаю. Может, все двести. Запрета от Ивана Васильевича никому не было. На шестьдесят верст вокруг Новгорода все города, все села были наши. Убивай без разбору, бери без оглядки. Нужна тебе дочь боярская – да хоть наизнанку ее выверни. Сам-то Грозный-царь, знаешь, сколько из черноризцев добра выколол? Настоятеля и весь причт Софийской соборной церкви с неделю по пяткам били, с утра до вечера. До монетки выскребли их явное и тайное. Иван Васильевич взял себе все сосуды священные, все дорогие ризы, все иконы – с двадцати семи монастырей! Не церквушек – монастырей. В Софийском соборе из алтаря корсунские двери выломали... Великая была гульба!

И очень мы все в Новгороде устали. Государь крепче был нас, не навеселился досыта, во Псков повел. Во Пскове знали, как обошелся Иван Васильевич с Новгородом. Встретили нас колоколами, а все жители, мал и стар, упали перед государем на колени... Ивану Васильевичу не то чтобы смирение понравилось – Микула Свят напугал, юродивый. Проскакал перед царем на палке, крича во все горло:

– Иванушка, покушай хлеба-соли, а не христианской крови!

И был нам приказ: иступите мечи о камень!

Убийство, верно, государь запретил, а грабить грабили. Уж очень город богатый. Иван-то Васильевич пошел за благословением к Микуле, в хижину его. Юродивый царю не удивился, не испугался, а только сказал:

– Не замай, минухне, нас и поди от нас. Не то не на чем тебе будет бежати.

– Чего это он лепечет? – спросил царь.

Псковичи объяснили:

– Блаженный по-нашему говорит, по-псковски: не трогай-де, прохожий, нас.

А Микула уж с угощением к царю поспешает: поднес кусок сырого, кровавого мяса. Иван Васильевич отшатнулся, осерчал.

– Я христианин, Великим постом мяса не ем!..

А юродивый на царя-то ногами затопал:

– Не брещи, пес! Сколько ты крови человеческой выхлебал! Расхрабрился святые церкви ограбить? Смотри! Ты хоть царь, но есть и над тобой начальник. Чем грабить, давай лучше помолимся вместе.

Иван Васильевич сник, молился с юродивым, но приказа грабить богатых не отменил. С Троицкого собора большой колокол сняли. Колокол сняли, и в тот же день подох конь у царя. Сбылось пророчество Микулы: бежать из Пскова царю стало не на чем... Уцелели псковичи, святой человек их спас. Микула Свят не чета архиепископу Пимену...

Василий Иванович, видя, что Агий трезвеет от воспоминаний, подал ему лук.

– Покажи, покажи, как надо целить!

– Эко! Какие же княжичи у нас все дураки! Царь не зря выводит вашу свору под корень. Смотри! Видишь на березе пичугу? Нет, пусть живет, Господа славит песнями! Вон шишки на елке! Видишь, три их там? Стреляю в среднюю.

Уронил голову на грудь, всхрапнул, вздрогнул, поднял лук и сшиб стрелой среднюю шишку.

– То-то!

Василий Иванович тотчас поднес стрелку романей. Шептал:

– Славный ты лучник! Спасибо за науку. Хорошо меня поучил. – И почти кричал в ухо: – Из лука мы стреляли. Из лука!

– Из лука, – согласился Агий, всхрапывая.

– А теперь скажи: батюшка мой, Иван Андреевич, на Поганой луже с Иваном Грозным был?

– Был, – кивнул Агий, – и я был.

– Ты был, а князь Шуйский, князь Иван Андреевич был?!

Агий засопел, поглядел на своего гостя недовольно:

– Все ухо мне прокричал... Чего шумишь? Был. Поганая лужа, говоришь, – засмеялся. – Это после нас она стала поганая, теперь Пожаром зовется. Красная площадь. Мы ее выкрасили.

– Неужто правда, что зараз сто человек порешили?

– На казнь вели три сотни. Виселицы поставили, разложили крючья, здоровые иглы, разожгли печи, сковороды накалили добела... Торгаши как увидели, что делается, не затворя лавок, не собрав денег, кинулись бежать... А Иван-то Васильевич обиделся. Разослал по

Москве гонцов скликать народ обратно, обещал всем, кто придет, царскую милость... Куда деваться, пришли. Иван Васильевич сам спрашивал москвичей:

– Праведно ли я караю лютыми муками изменников?

Народ и закричал на радостях, что его-то не трогают:

– Будь здоров, государь! Твоим злодеям злодейская смерть!

– Радуйтесь! Бог дал вам милостивого царя! – изволил молвить благодетель наш и повелел отпустить из приговоренных к смерти прямо в толпу сто восемьдесят счастливых. Сто двадцать нам отдал... Такого и в Новгороде не бывало. Жарили мы людей, в разрезанные животы раскаленные камни клали. Убить же до смерти – упаси Господи, терзали, как и в аду небось не умеют. Иван Васильевич чуть не каждого почтил, а за ним сын его, царевич Иван Иванович, и всякий чин руку прикладывал к мучительству. Царь за всеми следил. Если бы кто заупрямился, тотчас бы сам в котел с кипятком попал, как казначей Фуников. Его то в кипяток окунали, то в ледяную воду... У нас, у опричников, уж так заведено было: делай, как великий государь делает... Перечить упаси тебя Бог. Князь Репнин на пиру «харю» не пожелал надеть – головой поплатился.

Василий Иванович поднес Агию еще одну чару романи, но Агий, погружаясь в пьяный туман, все бормотал и бормотал:

– На другой день мы насильовали жен и дочерей убиенных... А эти-то так и лежали неубранные. Собаки их сожрали... А потом всех жен, всех дев – в Москву-реку, с камнем на шее... Иван-то Васильевич, когда распался, удержу не знал... Помнишь, как велел пускать на народ медведей? На Рождество, когда на Москве-реке гулянье было? Не помнишь! Молод ты, князь, но год у Ивана Васильевича послужишь, и будет тебе сто лет!

– Белка пришла! – увидел Василий Иванович белку на поленнице.

– Белка! – кивнул Агий и упал в траву.

Бывший опричник, тайный слуга Ивана Андреевича, спал, всхрапывая, вскрикивая. Князь не уходил, стерег эти страшные сны...

Не уходила и белка.

Вдруг в траве мелькнул большой гладкий красивый зверь. Василий Иванович сначала не понял, кто это.

– Да ведь выдра!

Выдра тоже была тут своей. Потом прибежал полосатый барсук; на макушку ели, с которой Агий сшиб стрелой шишку, сел ворон. Звери не боялись людей, не уходили.

Василий Иванович собрал еду, отнес в погреб, на лед.

Оставил возле спящего сулею с двойным вином и лук, чтоб, проснувшись, Агий только и припомнил, что стрелы с князем пускал. Бутылки же из-под романи Василий Иванович забрал с собой, в озере утопил.

Покатался на лодке, ожидая ладью. И несколько раз видел выдру. Следила за пришельцем.

– Как зовут твоего хозяина? – спросил выдру князь.

Выдра ощерилась вдруг, ушла под воду, а вынырнув, снова ощерилась со свирепостью.

Удивился Василий Иванович, но уже ладья подходила.

– Ушица готовится, – сообщил князю приплывший на ладье Стахей. – Твоим счастьем улов нынче знаменитый.

Ушица у Бессона Окоемова тоже удалась.

– С месяцем! – показал Бессон в котел, где среди янтарных звезд плавал тонкий серпик новой луны.

6

Рыбаки угостили князя. Князь устроил общий пир для всего починка. Быка купил, приказал целиком зажарить, осетра велел привезти, ставленного боярского меда, пирогов, вишни в меду.

Тайком ездил поглядеть: поставил Елупко новую избу вдове Марье или княжье слово ему не страшное?

Вместо развалюхи нашел новый дом, крытый двор на загляденье. Ребятишки пасли гусей на лужку.

Обрадовался Василий Иванович: слушаются рабы. Расстарался Елупко. О гусях ему не сказано было, а он вон сколько пригнал.

Поехал Василий Иванович окольным путем в Торицу – никакой перемены: у богатых дома богатые, у бедняков – хуже некуда.

Воротясь в починок, приказал мужикам нарубить воз лозы на розги. Отправил воз Елупке, велел сказать ему:

– Всю Торицу выпорю, коли, уезжая, хоть одну убогую избенку увижу.

А соловьи свистали ночи напролет! Василий Иванович, помолясь с Первушей, уходил на берег озера, на колоду, и думалось ему о невеселом: проклят ради грехов предков, или Господь, смилостивившись, не взвалит на него чужие камни, чужую тьму?

Князя в починке любили, жалели... Жалеючи, подослали девицу, теплую, ласковую. Соловьев ради не прогнал, и она его водила за околицу, в стога...

Не забыл Василий Иванович и Агия. Навестил его еще раз. Привез с собой пирогов, меда и лук с колчаном.

– Славно мы с тобой постреляли в прошлый раз. Поучи еще...

Агий учил, взглядывая иной раз вопросительно на Василия Ивановича. У князя стрелы летели вроссыпь. Он и теперь спрашивал Агия о прошлом, о битвах, как его батюшка водил полки. Завет разговор о сожжении Москвы.

– Князь Иван Федорович Мстиславский* признался, что показал хану Девлет-Гирею место на Оке, где не было войска.

– Попробуй не признайся, коли Иван Васильевич велит, – засмеялся Агий. – Кудеяр Тишенков дорогу показал... Много было изменников! Башуй Сумароков из наших, из опричников, тоже перебежал к хану. У царя-де войска мало. Иван Васильевич с тремя полками к Серпухову шел. У Земства тысяч пятьдесят было собрано. На Оке стояли князь Иван Дмитриевич Бельский, Иван Федорович Мстиславский, Михайла Иванович Воротынский*. Твой родич князь Иван Петрович Шуйский, Иван Андреевич тоже там был, с земскими. Я с опричниками шел. Мы с государем аж кресты серпуховских церквей видели, когда прискакал гонец с известием: у хана в войске кабардинский князь Темрюк*, отец князя Михаила Темрюковича Черкасского*, царева шурина. Царица Мария хоть померла, но князь Черкасский в Опричнине был первый, на него управы даже у царя не искали. Михайло Темрюкович передовой полк вел. Испугался Иван Васильевич измены, послал удавить шурина. Жену его юную тоже удавили, вместе с сыном. Жалко бедных. Матери было шестнадцать, а сыночку ее полгода... Зазря князя убили. Прискакал другой гонец – хан уж на нашей стороне Оки, отряд опричников Якова Вольнского*, как пух, развеял. Тут царь Иван войско бросил и пустился в бега. Сначала и Бронницы, потом в слободу свою Александровскую, показалось ненадежно – побежал в Ростов, в Ярославль, в Вологду, в Кирилло-Белозерском монастыре укрылся, Бога молил, да не вымолил Москвы.

Агий наложил стрелу на тетиву, но стрелять не стал, отдал лук князю:

– Давай ты, я свое отстрелял.

– Так ли натягиваю?

– К плечу тяни, не к носу. Ты, чай, русский человек. Сам-то не будь как тетива! Лук держи крепко, не жми. Размякни телом, говорю!

Тетива зазвенела, стрела угодила в черную метку на доске.

– Попал!

– Отчего же не попасть? Хорошо слушаешь. Поднеси-ка мне, князь, еще полковшика за учебу.

Василий Иванович был послушен, подал Агню полковша меду.

– Вкусно и хмельно! – Агий вдруг поклонился князю. – Что сам пьешь, тем и потчуеть. Спасибо. Садись, Василий Иванович, на сенцо. Для зверушек моих готовлю. Не видал зверушек-то?

– Белку видел.

– Коли пообвыкнут, покажутся. Мы весело живем. Дружно... А про пожар московский всю правду тебе скажу. Сам был в огне.

– Слышал я, великие тысячи погорело... народу.

– Великие, князь! Отлились Москве слезы Новгорода.

– Да Москве-то за что?

Агий глянул на Василия Ивановича с укоризной.

– За то, что тирана терпит.

– Вся Русская земля терпит.

Бывший опричник перекрестился, потянулся к ковшу, но рукой махнул.

– Наши первые к Москве пришли. У нас полком командовал князь Темкин-Ростовский. Вокруг Москвы ни стены, ни рва. Вот и заперлись мы в Опричном дворе. Стена там была надежная, в шесть саженой высоты. Низ стены каменный, верх кирпичный. Трое ворот с башнями.

– Помню, черные орлы на них были. И еще львы, у которых глаза горели...

– Красивый был двор. Терема резьбой изукрашены. А вот воевали плохо. Земские воеводы встали на Якиманке, на Таганском лугу, на Неглинной.

– Мой отец на Таганском лугу стоял.

– Потому и остался жив... Хан Девлет-Гирей нагрязнул часа через два-три после прихода земских полков. Большие воеводы за кремлевскую стену ушли, да в Китай-город, себя спасали; князь Иван Бельский первый. Татары увидели, что воевать не с кем, – зажгли посады за Неглинной... Веришь ли, весь день тихо было! Через Москву-реку переходили – гладь, а тут откуда ни возьмись – буря. Понесло огонь на Арбат, на Кремль, на Китай-город. В Пушечной избе взорвался порох, пыхнула Москва, как факел. Хан похватал людей, какие из города выбежали, и ушел от огня подальше. Народу сгорело великое множество. Тысяч триста. Кто не сгорел, от дыма задохнулся. Князь Бельский в погреб спрятался, да не уцелел. Я к немцам прибился. Они люди ученые, ссали на платки и теми платками рот и нос закрывали... Добрались до Москвы-реки, по воде за город вышли... Опричный двор дотла сгорел. Что люди?! Колокола от жара растопились, как воск, на землю стекли. В Грановитой палате, в Кремле, прутья железные перегорели. Бог митрополита Кирилла спас со священством. В Успенском соборе отсиделись от огня.

– Посмотри! – шепнул князь. – Белка пришла.

Агий глянул на белку и, вздохнув, закончил рассказ:

– За ту проруху великий государь казнил князя Темкина-Ростовского, воеводу-опричника Яковлева, да лекарь Бомель отравил сто человек из наших, по царскому повелению. Не быть бы и мне живу, – батюшка твой, блаженной памяти князь Иван Андреевич, в Шую меня отослал, в Шартомский монастырь. С той поры нет уж боле опричника... имярек, есть Агий, друг звериный...

– Как служить-то мне, Агий, царю Ивану? Надоумь!
– По совести. Колн угодно будет Господу, не отдаст тебя на растерзанье... Да ведь и не молод царь-государь. Чай, убыло в нем прежней прыти.

7

Каждый день взялся приплывать на остров князь, постигал стрельбу из лука. Не ахти как шло дело, но Василий Иванович был въедлив, переупрямил природную нетвердость руки, рассеянность взгляда. Учитель у него тоже был сметливый. Предложил однажды:

– Хочешь, князь, научу тебя моему коронному штукарю?.. Да простит меня Господь.

Показал на пролетающую птицу, одной стрелой сшиб и успел, пока падала, поразить другой стрелой.

Подумал Василий Иванович и с усердием принялся обучаться Агиеву искусству. Не сразу, но получилось.

Пока ездил на остров, зверушки и впрямь привыкли к Василию Ивановичу. Выдра даже ласкаться начала. Спросил однажды князь Агия:

– Не хочешь ли вернуться в мир?

– Покуда жив Иван Васильевич, мне лучше с выдрой знаться.

На том и простились. Выдра провожала ладью, выныривала то с одного борта, то с другого. Дразня, князь спрашивал ее:

– Как имя хозяина твоего?

Выдра недовольно фыркала и погружалась в воду.

Когда она, напоследок погнавшись за ладьей по следу, изнемогла, остановилась, положила мордочку на волну, князь снова спросил ее шепотом:

– Как имя хозяина твоего?

И выдра, хоть и далеко была, тотчас нырнула.

Сошел Василий Иванович на берег, а его Первуша поджидает.

– Все на остров да на остров, сходил бы ты, княже, в наш лес. Сколько уж я тут живу, а все не нарадуюсь на рощи наши, на боры золотые. Дубравушка-то у нас, боже ты мой! Русальная неделя на пороге.

– Так русалки, чай, в лесу защекочут.

– В русальную неделю* в лесу русалки добрые. Купаться нельзя.

– Избавь меня от напасти, добрый мой Частоступ! Ломаю голову, ломаю – и никак не вспомню прежнее имя Агия.

– Я с молодых лет твоему батюшке служил, потому и знаю, грешный, сию тайну. Федор по крещению, а прозвище у него Старый. Мудреный человек. Он и в молодые годы был мудреный.

– Освободил ты меня от заботы, благодарствую... Теперь указывай, в какие леса идти? Да провожатого определи.

– У нас леса добрые. Заблудиться невозможно, ручьями, малыми речками огорожены. Дальше воды не ходи – и не заплутаешь... Пообедаем, в дубраву ступай.

Дубрава была за лугом, за мелколесьем. Кажется, какого леса ждать, если землю занял бересклет, орешник, бузина... Влажная тропинка тоже была нетерпеливая, прямая... Пошла выше, выше, и, продравшись через черемушник, вынырнул князь к яркому свету, очутился себе на удивление в лесу великом, ибо каждое дерево было здесь, как собор.

Вспомнилась присказка: «Держись за дубок, дубок в землю глубок».

По траве-мураве шел Василий Иванович под дубами, едва еще опушенными нежной листвой. Идти было просторно, дубы стояли не теснясь. Все могучие, неохватные. Вершинами гуляли по небу, как по полю.

«Боже мой! – думал князь Василий Иванович. – А ведь эти громады старше Шуйских».

Шуйские вели свой род от великого князя Андрея Ярославича Суздальского, третьего сына Ярослава Всеволодовича. Князь Александр, прозванный Невским, старший брат Андрея, получил от сыновей и внуков Чингисхана в удел сожженный дотла Киев да окраинную Новгородскую землю, чингизиды боялись воинской славы Александра. Но Андрей тоже был славным воином, сражался на Чудском озере*, ломал копьём немецкую «свинью». В жены себе взял дочь Данилы Романовича Галицкого, единственного русского князя, который не склонил головы перед Батыем.

Василий Иванович прильнул к дубу-громаде телом, лаская жесткую кору ладонями.

– Князь Андрей! Может, и ты обнимал этот дуб! Не оставь! Будь со мною и во мне!

И струсил, сказавши это. Хитрая рыба не запутает так леску, как путала судьба жизнь Андрея Ярославича. Бился он с татарами за Русь, с царевичем Невруем, и не одолел. Далеко пришлось бегать. Новгород, убоявшись мести Батыея, не принял князя. Даже княгиню свою с детьми пришлось ему дожидаться во Пскове. Соединясь с семьёй, ушел сначала в Кольвань, так называли русские Таллин, а потом в Швецию. Уж только после смерти Батыея и Сартака вернулся Андрей Ярославич на родину, получил от брата Александра Суздаль, Городец, Нижний Новгород. Хоть и лишился ярлыка на великое княжение, не мстил старшему брату, не ревновал. Смолчал, когда обошли его после смерти Александра. По старшинству он наследовал стол великого князя, но татары дали ярлык менее опасному для себя Ярославу Тверскому. Через год Андрей умер, а дети его вновь испытали притеснение. Князь Юрий Андреевич получил в удел один только Суздаль. Городец и Нижний Новгород Александр Невский завещал своему сыну, посеяв вражду между двоюродными братьями и потомками. Да как судить святого? Саму славу русскую? Грех.

Василий Иванович сел на корневище, устал от дум.

И увидел вдруг у ног травинку с листочком, похожим на дубовый. Наклонился, а это дубок! С полмизинца! И на ростке этом лист. Настоящий дубовый лист, величиной с муравья.

– Господи! – прошептал князь. – Расти же ты, милый, как буду расти я в службах моих. Стань, бога ради, великим дубом, и, когда заматереешь, да будет род Шуйских на царстве.

Отходил от заветного теперь места, травы стесняясь – наступать ведь приходится, мять ее. Сказал большому дубу издали:

– Ты храни росток! Будь милостив, храни!

8

На Троицу, в седьмую от Пасхи неделю, девицы и молодые бабы затеялись водить хоро- воды. Ходили удивительно, не кругами, а змейкой. Вилась эта нарядная змейка по зеленому берегу озера, вокруг деревьев и уползла наконец в березовую рощу.

Возле воды певички кукушку поминали:

Во лесу, во лесочке
Росла трава-мурава.
До пояса доросла,
Березку обвяла.
Ли, лилё, да лилё,
Семик* да Троица.
Мы березку завивали.
Весну встречали,
Кукушечку выкликали:
– Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!

Вокруг берез иные были песни:

– Вы не радуйтесь, дубья, вяза.
Радуйся, береза белая,
Что ты белая да кудрявая,
Ты кудрявая, моложавая.
Идут к тебе девки красные,
Девки красные, косы русые.
Несут тебе песню звонкую,
Песню звонкую, яичню вкусную!

Из березовой рощи потекла змейка к полям-зеленям. Хоровод далеко слышно. Голоса у женщин чистые, поют ладно, эхо и то помалкивало:

Где девушки шли,
Сарафанами трясли —
Будет рожь густа,
Умолотиста!
Умолотиста-умолотиста.
С одного-то колоска
Умолотишь три мешка.
И уж совсем задиристо:
Млада я, млада, размладешенька!
Уродися на лето, повальный хлеб,
Еще родися с овсом, со пшеницею.
Еще с белою чечевицею.

– На Семик, в четверг, пойдешь ли подглядывать, как девицы березки завивают? – спросил Первуша князя. – Ты поди, не поленись! Мы, парнями были, подглядывали.

Ради хозяина своего, доброго старца, решил-таки Василий Иванович по лесу побродить. Подглядывать за девицами ему не хотелось. Великой тайны в том девичьем празднике не было.

Набрав пирогов, яиц, крашенных в желтый цвет, а то и с особым пирогом, залитым сверху яичницей, гуляли девушки по лесу, пели, водили хороводы, заплетали на березах косы и венки, на женихов загадывали, а потом угощались.

– Частоступ! – пришло на ум князю. – А что, если я в крестьянское оденусь? Кому я тогда нужен? Разбойникам с крестьянина взять нечего.

– Ты молодой. Заозоруют парни, увидят чужака, поколотят.

– Отговорюсь как-нибудь... В дубраве я уже был...

– То в дубраве. В березняке нынче бабье царство. Уж если они кинутся колотить, так побьют больно. Бабья драка злая.

– Один я хочу побыть, Первуша. Услышу бабьи голоса, стороной обойду.

– Будь по-твоему, – согласился старец.

Одежда нашлась новехонькая. Порты синие, рубашка белая, ворот красными зверьми расшит. Хвостатые звери, гривастые, с когтями. Поясок крученный, красный, с кистями.

– Ножки-то в лапоточки придется обуть, – сказал Первуша, озабоченно посмеиваясь.

Помог онучи намотать. Лапти дал разношенные, чтоб не томили ногу.

Прошелся Василий Иванович по горнице, изумился:

– Легко-то как! Хоть по облакам скачи.

– Лапти обувь мудрая, – сказал Частоступ. – В такой обувке далеко можно уйти.

– Больно ли далеко ушел русский лапотник?

– Василий Иванович, далеко ли – близко, умом долго раскидывать не надобно. До Христа дошел русский мужик. В работниках у Христа. До самого неба. Куда ж дальше?

– Как ты повернул! – удивился князь. – Я все к Агию ездил, его науку постигал, а мне с тобой надо больше говорить.

– Погуляй, князь, по весеннему лесу. Мой весенний лес по сю пору шумит в голове. Сладкое время, князь. Тебе бы еще березового сока попить, да уж поздно. Приезжай в другой раз пораньше. У наших берез сок медовый. Право слово!

– Ну, пошел я! – перекрестился князь на дорожку.

– Ты суму возьми! – спохватился Первуша.

– Да зачем?

– Я тебе сотового меда положил. Пару яблочек. Пирогов с осетринкой. Мало ли кого угостить придется. Да ведь и сам проголодаешься. Нож не забудь. Вырежь палку себе на память. Вот еще сулея с медом.

– Зачем мне, мужику, боярское питье?

– Ничего! Неделя нынче особая. Крестьяне в праздники тоже себя побаловать любят.

По жердочкам перешел Василий Иванович ручей, и берегом пошел вверх по течению, подальше от починка, чтоб не встретить девушек, завивающих березы.

Встала вдруг жена перед глазами, вся в жемчугах, нарумяненная, набеленная. Царица зимы. Любила жемчуг, а жемчуг – к слезам.

Постоял над ручьем, умылся. Сел на коряжку. Удобная коряжка. Солнце ласковое, вода, как младенец, гулькает. И почувствовал обруч на лбу. Схватился рукой – корона! Тяжеленная, хуже лосиных рогов, виски давит, голова аж потрескивает. Двумя руками схватился, чтобы скинуть, – приросла. Испугался. Вскочил, забегал по берегу ручья, а вместо ручья – стена белокаменная. Вдруг ветерком повеяло, одуванчик облетел. Пушинка корону задела, корона и покатила с головы, загремела. Опять испугался. Да так, что глаза открыл. Ручей через камень попрыгивает, погулькивает...

Улыбнулся Василий Иванович. Вытащил из сумы пирожок, оглянулся, примечая место. Ель на другом берегу, одинокая, черная, копешка сена...

Вошел в лес, как в птичий терем. Свистов, треньканья, окликов, отзывов, и кукушка тебе пожалуйста. Далек-далек, лешему года считает.

Пахло папоротниками, березовым листом... Засмотрелся на просвет впереди и чуть было ландыш не раздавил. Пригляделся, из-под каждого кустика чистые, живые жемчужины. Благоуханные. Опустился на корточки, потрогал жемчужинки. Радость Божия, укор человеческой суете.

Вздыхнул и пошел, глядя под ноги. И снова замер. У корневища молодого дуба дятел похаживал. Шапка красная, перья новехонькие.

– Тоже на праздник нарядился! – сказал дятлу Василий Иванович, но дятел не испугался человеческого голоса, делом был занят, расшвыривал старую листву. Что-то находил нужное, азартно постукивая клювом.

Василий Иванович отступил, обошел дубок стороной. Впереди послышался шум. Это был странный шум. Словно дождь сыпал над одним деревом. Остерегаясь выдать свое присутствие, князь пошел таясь, ступая мимо веток, но звуки дождя тоже смолкли. Остановился – тихо было в лесу. И вдруг совсем близко раздалась песенка. Князь чуть было не кинулся в обратную сторону: песенка была троицкая, да вот пели ее... в небе.

Подкрался ближе и увидел на вершине березы длинные русые волосы, белую рубаху, босые ноги.

– Неужто русалка?

Девушка одной рукой ловила ветки, другой придерживала и, собравши наконец всю вершинку, запела:

Дай мне шильце да мыльце,
Белое белильце да зеркальце.
Копейку да денежку —
За прекрасную девушку!
Ой, дид-ладо!
Семика честного яичницу!
Ио, ио, березынька!

Горланя свое «ио», ринулась с дерева. Сарафан от ветра взлетел, открывая все девичьи тайности. Береза же покорно согнула ветки, донесла девушку до земли.

— Опять ветки коротки! — огорчилась летунья, отпуская вершину.

Береза, трепеща листвою, разогнулась, а девушка принялась кружить по поляне, напевая:

Туча с громом сговаривалась:
«Пойдем, туча, гулять на поле,
На то поле на Лопьяльское!
Ты с грозой, а я с молнией.
Ты стукнешь, а я выполю!
Доли-лели-лели-лэ!»

Размахнула руки, зажмурила глаза, крутилась быстрее, быстрее. Платье, расшитое по подолу, по вороту, по груди васильками, пошло синими кругами, волосы, не заплетенные в косу, плыли золотым колесом. Девушка поймала рукой ветку, открыла глаза. Посмотрела на березу.

— Не я тебя выбрала, судьба. Ты уж покатай меня, согнись до земли, дозвошь заплести ветки твои с травой. Земная силушка будет тебе службу служить.

Приноровилась, полезла на березу и скоро была на вершине. Спела еще одну песенку:

Вы дуги мои, вы зеленые!
На вас красочки всё багровые.
Я сорву цветок и совью веночек,
«Скажи, веночек, за кого пойду:
Ти за старого, ти за малого?
Ти за малого, ай за ровного?»

И ответила себе басом:

«Быть тебе, девушка, за старым мужем!»

И взвилась по-своему, девичьим голосом:

«Я же тебя, веночек, в руках сотру.
Под ногой стопчу, не померяю».
Ио! Ио! Березынька!

Сама вниз – сарафан вверх. Березка станом изогнулась, принесла летунью, на землю поставила, окунула ветки в траву.

– То, что надобно! – обрадовалась девушка и, налегая тельцем на березку, принялась свивать ветви с травой, припевая:

Вы луги мои, вы зеленые!
На вас красочки всё багровые,
Я сорву цветок и совью венок.
«Скажи, веночек, за кого пойду:
Ти за старого, ти за малого?
Ти за малого, ай за ровного?»
«Быть тебе, девица, за ровным мужем»,
«Я ж тебя, веночек, померяю,
Я ж тебя, веночек, на голове сношу».

Завив березку, принесла под нее суму. Развернула скатерть, пирог – на середину, яички желтые вокруг пирога, солнышком.

Перекрестилась, села. Румяная, синеглазая и уж такая милая, что у князя в горле пересохло. Он было отступил в лес, а ветка-предатель так стрельнула под ногой, что в починке небось услышали. Князь обмер, а проворная девушка и на ноги успела вскочить, и подбежать.

– Подглядывал?! – не сердито спросила, с тоской, будто что потеряла. Личико у нее зарделось, вспомнила, как с вершинок слетывала.

– Помилуй меня, красная девица! Нечаянно на тебя набрел. Услышал шум, думал, может, кому помочь надо. Отступить тоже было боязно. Не хотелось песни твои спугнуть.

Не поднимая глаз, девушка сказала:

– Чего ж теперь?.. Пошли каравай есть, коли тебя Бог привел. А коли нечистый, так ты тем куском подавишься.

– Больно ты строга! – нахмурился князь, подходя к скатерти.

– Коли правду сказал, чего тебе бояться? А неправду, так лучше не ешь.

– Отломи кусочек.

– Сначала песню надо спеть.

И она запела, прикладывая ладони ко все еще пылающим щечкам:

Ржица-матушка колосилася,
Во ржи свинушка поросилася,
Семьдесят поросят, да все свиночки,
Все свиночки, да все пестренькие,
Хвостики у них востренькие.
А святой Илья по межам ходил,
По межам ходил, житушко родил.

Зачерпнула ложкой яичницу, поднесла князю.

– Ешь, чтоб поле моего батюшки втрое уродило.

Василий Иванович потянулся взять ложку, но девушка не позволила.

– Из моих рук ешь, так надо.

Съел. Девушка разрезала пирог на куски.

– Бери, какой на тебя смотрит. Пирог с груздями, со щучьей икрой.

Попробовал – понравилось.

– Вкусно!

- А как же не вкусно? Чай, троцкий пирог! Зо-вут-то тебя как?
- Василием.
- Не брешешь?
- Не брешу.
- А меня Василисой. Вот ведь как дивно сошлось... Может, и впрямь уродит наше поле тройне. Да хоть бы уродило!
- Разве прошлый год был неурожайный?
- Урожайный, – сказала Василиса, вздохнув. – Возле нашего поля стоит дуб о семидесяти семи суках. К нашему дубу за сто верст приходят. В прошлом-то году один сучок возьми и обломись, на поле упал, в хлеб. Вот батюшка и заповедал урожай Господу Богу, птицам небесным.
- Удивительная история! – Василий Иванович принялся выкладывать на скатерть свое угощение.
- Сколько у тебя всего! – обрадовалась Василиса да и призадумалась. – Ты, может, угощать кого шел?
- Что ты! Это мне Первуша в сумку набил. Я шел палку добрую выломать, выстрогать. Посошок.
- Старый ты, что ли, с посохом ходить? Чай, не поп.
- Для забавы.
- Василиса ухватила яблочко, отведала.
- Какое сладкое! Да кто этот твой Первуша?
- Богомаз.
- И ты из богомазов?
- Нет, я... родственник Первуше.
- Пирог с осетриной Василисе тоже пришлось по вкусу, да и князь не робел, уплетал семичное кушанье за обе щеки. Грузди они и есть грузди, а в груздях клюковка попадалась, калина с брусникой.
- Ты мастерица! – похвалил князь.
- Наелись, медом еду запили.
- Вот бы мне такого жениха, как ты! – сказала, опечалась, Василиса.
- Чем я тебе понравился? Ростом не высок, глазами не ярок.
- Ты молодой, а батюшка хочет меня за вдовца отдать. – И вдруг схватила князя за руку. – Если высватает за вдовца, приходи сюда, как хлеб-то уберут. Я тебе девичество свое пожалуйю. Тебе, хорошему. Не достанусь вдовцу непечатой!
- Свернула скатерку, положила в суму, убежала, не оглядываясь, не отзываясь.

9

Лошадь у гонца была В пене: великий государь вся Русь Иоанн Васильевич Грозный призывал на службу достигших совершенных лет князя Василия Ивановича Шуйского и другого его брата – Андрея Ивановича. Род Шуйских был в числе шестнадцати старейших, чьи отпрыски никогда не были окольными, получая сразу высший государственный чин боярина. Братьев Шуйских царь Иван Васильевич звал на свою дворцовую, на высокую службу. Младшего князя Андрея Ивановича записали быть у царевича Ивана Ивановича рындой с большим саадаком, а князя Василия Ивановича – рындой у самого царя, и тоже с большим саадаком. Рында – телохранитель, рынды стоят у трона, на самых торжественных приемах. Но рынды – еще и царские оруженосцы: одни носят шлем, другие самопал, копье, саадаки. Но первый среди них рында с большим саадаком.

Саадашный прибор – часть Большого Царского наряда – боевого снаряжения. Сюда входили: корона, скипетр, держава, бармы, золотые цепи. Сам же большой саадак состоял из налуча – ящика для лука, колчана, пояса, а бывало, и подсаадашного ножа. Царские луки мастерились из кости, рога, дерева. Все это склеивалось, обертывалось тисненой, с золотыми узорами, кожей. На тетиву шли воловьши жилы или шелковые крученые нити. Стрелы приготавлились из прямослойного дерева: из березы, клена, редко дуба, а вот наконечники парадными не были – из железа, из стали. Для всего прибора, храня от дождя и снега драгоценные налучи и колчаны, шили специальный чехол – тохтуй. Царские луки далеко били, стрела летела на двести, на триста шагов, на сто шагов насмерть поражала.

Выслушал Василий Иванович гонца, поцеловал деда Первушу, дал денег на покупку у местных богомазов два воза икон и поскакал в Шую, где приказано было ожидать царя. Проезжая Горицей, приметил – вместо развалюх новые избы стоят. Возгордился собой, но тотчас и взмолился, прося у Господа прощения. Гордыня – великий грех. Сегодня Господь дал ради добрых дел твоих, а за довольство глупое, за приписанные себе благодеяния все возьмет. И ведь у Грозного служить! Нынче у саадака, а завтра будет тебе собака.

Прискакав в Шую, не поменяв дорожного платья, в пыли, сел Василий Иванович в палате для гостей, оглядывая – какова? Да и призадумался. Охорашивать Шую ради царских глаз – богато, мол, живем – или поостеречься? Новое пылью притрусить, дорогое попрятать, а жителям побирушками прикинуться? Разве мало Иван Васильевич ограбил русских городов? Подчистую скарб забирал.

Но ведь время другое. Опричнина уничтожена, сама память о ней подлежит казни. Не будет ли великому государю приятно процветание города?

«Частоступа бы спросить!» – затосковал Василий Иванович, и захотелось ему в баню.

Управитель двора, как из-под земли, вырос:

– Господин, не изволишь ли после дороги помыться? У нас баня натоплена.

– Ой, хорошо! – обрадовался Василий Иванович.

– Спинку прикажешь потереть?

– Да чего ж, пусть потрут!

– Веники-то у нас все благоуханные.

– Пусть и вениками похлещут, – согласился князь, не понимая особых взоров управителя.

А в баню, сладкую от духмяных травок и смолков, потереть княжескую спину пришла черноглазая, пышногрудая, белотелая Ласка Ласковна. Василий Иванович обомлел, но сердиться поостерегся, позволил ублажить себя. А уж веничком жару нагнать – явились еще две белолупушки. Нежили, холили своего владыку не ради службы, но и себя радуя. Василий же Иванович после такой бани еще больше задумался. Лег спать спозаранок, поднялся затемно. Верхом, со слугами, поскакал в Шартомский монастырь. Князя ждали, он заранее заказал молебен, прося монахов помолиться о нем, Василии, о брате Андрее, призванных на службу великому государю Ивану Васильевичу. Умолить Господа и пращуров не оставить их, оградить от клеветы, укрепить мужеством на поле брани, мудростью в государевых делах.

Игумен монастыря архимандрит Лука молебствие устроил величавое.

Сначала помянули предков: князя Рюрика и равноапостольного крестителя Руси князя Владимира, великого князя Ярослава, святого Александра Ярославича Невского и Андрея Ярославича, родоначальника князей Суздальских. Далее князей Михаила, Василия, Константина и особенно великого князя, а потом всего лишь Нижегородского, Дмитрия Константиновича, чья дочь Евдокия стала женой Дмитрия Донского. Его сына Василия Кирдяпу, княжившего в Городце, бывшего заложником хана Тохтамыша, поминали благостно потому, что именно его отпрыск Юрий, лишенный, как и другие братья, удела в Нижнем Новгороде, обрел Шую и стал именоваться князем Шуйским. Князь Юрий Шуйский родил Василия и Федора. Братья, не признавая власти великого князя Московского Василия Темного, сидели на княже-

нии во Пскове и в Новгороде. Василий родил Михаила, Михаил Андрея, правителя России в отроческие годы царя Ивана Васильевича, Андрей родил Ивана, единственного сына, а Иван пятерых: Василия, Андрея, Дмитрия, Ивана и Александра.

Слушал Василий Иванович поминовения. И вдруг ожгло мыслью: он с братьями от князя Андрея Ярославича – двенадцатое колено в роду!

Постороннего народа в храме не было. Мужские голоса звучали, как рокоты грома. Запели первый псалом Псалтыри: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей».

И принесли белый, как снег, плащ, и облачили в этот плащ князя.

Запели второй псалом: «Зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное?»

И вложили князю меч в десницу.

Запели третий псалом: «Господи! Как умножились враги мои!»

И наложили на грудь Василию Ивановичу доспехи, и дали в левую руку щит.

С пением сто пятидесятого псалма: «Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его» – князя под руки ввели в алтарь, обвели вокруг престола и потом поставили перед Царскими Вратами, увенчав голову сначала княжеским венцом, а потом железной шапкой воина. И пропели ему, князю Шуйскому, славу и многие лета.

На том действо не окончилось. В братской трапезной был обед для всех монахов. В молчании прошла та трапеза, ибо была она поминовением всех воинов русских, павших в поле и на стенах, защищая милую Родину.

От величия происходящего комок стоял у князя в горле, а душа металась, как птица в силках. После бани с девками – в алтарь! Хоть бы три дня попоститься, покаяться...

После трапезы, оставшись наедине с игуменом Лукой, Василий Иванович сказал о своем сомнении.

– На нас сей грех, – вздохнув, молвил игумен. – Не исповедав, водили тебя в алтарь.

И тогда поделился Василий Иванович пришедшей ему в стыдной бане стыдной мыслью:

– Запрети или разреши, о пастырь мой! Жду в Шую приход великого царя нашего. Милостив наш государь, но грозен, и, боясь грозы, хочу дерзновенно наполнить город красными девами, потешить государя красотой.

Игумен сотворил про себя молитву, а вслух сказал:

– Да благословит тебя Господь, князь! Умилостивить великого государя – дело благодатное. Пусть злое убывает, а доброе прибывает.

10

Шуя всполошилась. С утра начинался перестук топоров, жиканье пил, громыхали, поспешая, телеги. Золотили кресты на церквах, сносили и жгли покосившиеся заборы, ставили новые, на окна навешивали узорчатые кокошники и наличники. И вот уж чудо так чудо: что ни день, прибывало в городе молодежи. Каждая статью – лебедь, лицом же – кто луна, кто заря, а кто и само солнце.

В хоромах князя старых людей не тронули, но всех нерях, дурнушек и нерасторопных отправили куда Макар телят гонял. Набрали самых пригожих и на всякий глаз: неприступных и лапушек, легконогих и величавых.

Василий Иванович совсем уж захопотался, да вдруг пришел царский указ: большому полку стоять в Муроме. Полку правой руки – в Елатье. Передовому полку назначен Нижний Новгород, а в Шую придет сторожевой полк князя Бориса Хованского да окольничего князя Дмитрия Хворостинина*.

Заскучал Василий Иванович, для Хованского с Хворостининым старался. Но скоро был утешен: царь Иван Васильевич призвал нести службу в Москве при своей царской особе.

Сборы были короткие. Сегодня гонец, завтра в дорогу. Однако не забыл возы загрузить, а для красных девиц велел две телеги подать, остальных же отпустить по домам. Уже садясь в кибитку, Василий Иванович увидел вдруг среди провожавшей его дворни... Василису.

Подозвал управителя, наказал:

– Живите без мотовства, но чтоб голодных не было. И вот тебе еще дельце. Вон ту девку, Василису, посади в мой обоз.

...На свой двор князь Василий Иванович въезжал в обеденное время. Застал трапезу убогих и нищих. Для сей ежедневной милостыни был устроен возле хлебного амбара навес и стол человек на сто. Князь подошел к братии, поклонился. Нищие быстрехонько повскакивали на ноги, перекрестились, пропели князю песенку:

Услышь, Господи, наше моление,
Всесладчайший пастырь наш!
Мы овечушки твои избранные
На твоих злчных полях.
При твоих водах живых,
Пасемся сладкими цветами,
Они же во весь век цветут, не вянут.

И снова кланялись, крестились.

– Сытно ли? – спросил князь.

– Сытно! – ответили весело нищие. – Нам и мяска дают, и маслица. Благослови тебя Бог, Василий Иванович. Уж мы за тебя помолимся с усердием.

Во дворе шла суета. Разгружали возы, распрягали лошадей.

Князь пошел в холопскую, но холопы сами высыпали к нему, приветствуя и кланяясь. Народ все крепкий, хваткий.

– Нет ли каких укоров, недовольств? – спросил князь.

– Слава богу, никто на твой двор не покушался, Василий Иванович, – ответили ему. – Жили, пока ты был в отлучке, покойно, сытно.

– Жирком-то не заросли?

– Заросли! – смеялись холопы.

– Привез я красных девиц на двух телегах, – сказал князь. – Кто не зажирел, тот жених. Бороды расчешите да рубахи заляпанные поменяйте.

– Спасибо, князь, что о нас, горемыках, помнишь, – поклонились весьма довольны холопы.

В доме кинулись Василию Ивановичу под ноги карлы и карлицы, обступила комнатная челядь.

– Радость наша! Князюшка! Свет Светович!

– Возле крыльца два воза стоят, – сказал князь. – Все, что там есть, – ваше! Да не деритесь, бога ради.

Карлы и карлицы хватили его за руки, прикладывались, а кто и ноги целовал. Протискиваясь к своим покоям, усмотрел бахаря* Шумилу, тихо стоявшего в стороне, седого, доброго. Сам к нему подошел:

– Тебе, красное мое слово, икону Иоанна Златоуста привез да связку рыбки сушеной.

В покои, зная княжки привычки, тотчас явилась ключница Дарья. Подробно сказывала, что прибыло, каков был расход, подала ключи: Василий Иванович любил походить по чуланам, по клетям, посмотреть, сколько и чего у него есть.

– Дарья, – сказал вдруг князь, – а не больно ли много у нас шутов и шутих? Матушка моя любила забавляться с ними, а у меня от них в голове шумит. Брат Дмитрий, помню, горевал, что у него-де всего один карлик.

– Все их дело – под ногами путаться. Малы, а едят больше холопов, – сказала Дарья.

– Так распорядись! Пусть отвезут всех к Дмитрию. Перед первым же праздником и отвези, от меня в подарок. И скажи, Дарья, не больно ли мы нищих балуем?

– Чего ж не больно? Мужики в деревнях так не едят, как наши дармоеды.

– Может, поставить возле каретного сарая избушку, чтоб и зимой жили? Только не по сто ртов, а хотя бы с дюжину.

– Доброе дело! – согласилась Дарья.

– Так ты распорядись... А теперь поди скажи домочадцам, чтоб не шумели. Посплю с дороги.

– А поесть?

– Сначала посплю.

Спать лег, как на ночь, разделся, помолился, а прикорнул на минуту. Приснился ему орел: несет чего-то в когтях, а что, непонятно. Да и кинул. И хлоп: угодило брошенное орлом ему на голову. Потрогал – корона. Хотел снять – приросла! Испугался – сон и соскочил.

11

Царь Иван Васильевич вошел в Тронную залу, чуть припоздняясь, всего с одним только провожатым, с новым своим любимцем – Василием Умным-Колычевым. Шел, улыбаясь, но глаза опустивши к земле, высокий, широкогрудый и все еще узкий в талии. Василий Иванович, впервой видя Грозного так близко, перестал дышать.

Веки великий государь поднял медленно, посмотрел на своих рынд, словно души их бес- телесные ножом вспорол, и улыбнулся, поверил.

На трон сел просто, поерзал, устраиваясь, положил руки на подлокотники.

Вышел, встал перед троном князь Иван Юрьевич Голицын.

– Великий государь, казанские люди приходили в Муром, били тебе, государю царю, и сыну твоему, царевичу, челом, прося учинить мир и договор.

Дьяк прочитал текст договора, Дума и царь договор утвердили.

– Люблю умных людей, – сказал царь, – вот и в Ливонии смирились бы, и делу конец.

Говорил негромко, но всякое слово было ясно, и все, замерев, слушали сказанное.

Грозный набычился вдруг, лицо побледнело.

– Сколько мне вас просить, чтоб отпустили из казны денег на мой царский двор в Новгороде! Не хочу чистить Москву от измены, как вымел Новгород. Хочу, чтоб стольный град был ближе к границе, ведь наше царство почитают за край земли... После смерти жены моей, царицы Анастасии Романовны, король Польский Сигизмунд не дал мне в жены своей сестры, боясь, что она замерзнет в ледовитой Москве.

Бояре слушали, мотали на ус: уж не задумал ли царь искать себе жену среди иноземных принцесс? Четвертая его царица, Анна, была из рода столь ничтожного, что ее родственников Колтовских не пожаловали даже думскими званиями. Царь пуще собственного ока берег честь великих древних родов.

– Что молчите?! – прикрикнул на Думу Грозный.

Поднялся всего год тому назад возведенный в боярство князь Иван Петрович Шуйский.

– Великий государь! Смени гнев на милость. Не покидай Москвы. Мы головами тебе служим. За что ты не любишь нас?

– Тебя, Шуйский, люблю, а стольный град мой будет в Новгороде. Кто меня любит, поспе- шайте в Новгород. Прошу денег – избенку себе построить.

Новый распорядитель дел в царстве Борис Давыдович Тулупов сказал царю правду:

– Великий государь, твоя воля! Бери, что есть, да только денег в казне как раз на избу. Может, у сына твоего, у царевича Ивана Ивановича, великого князя Новгородского, в его новгородской казне есть больше? По твоему, великий государь, указу, месяца еще не прошло, как отданы в Отеньский Новгородский монастырь непомерно большие деньги – две тысячи шестьсот рублей.

– Что отдано, то отдано. Новгородская земля, не в пример Московской, являет новых святых. В позапрошлом году, когда я жил в Новгороде, приключился великий ураган. Неистовым ветром возле церкви Флора и Лавра унесло землю, и обретен был гроб святой девицы Гликерии. От ее мощей произошли многие исцеления. Я сам видел четырехлетнего отрока Агафона, сына подьячего, который был от рождения слеп, а приложился к мощам и прозрел... А прошлой зимой писал мне архиепископ Леонид, обретенны в Боровичах нетленные мощи блаженного Якова... А ты, Москва, чем можешь погордиться?

Бояре молчали. Но тут всех ободрило и даже насмешило сообщение дьяка Посольского и Разрядного приказов Андрея Яковлевича Щелканова.

Князь Василий Иванович смотрел на знаменитого Щелканова во все глаза, хотя не смотреть надо было, а слушать. Сбежал из Польши король! Во Франции скончался его царствующий брат Карл IX, и Генрих Анжуйский Валуа*, всего год тому назад избранный королем Польским и пробывший на престоле пять месяцев без недели, тайно покинул Краков и приехал в Париж, вызванный туда своей матерью – Екатериной Медичи. Матушка добывала сыну польскую корону, а теперь не желала упустить корону Франции.

– Когда, говоришь, король Генрих бежал?

– Восемнадцатого июня, великий государь.

– А когда мы отправили в Краков Ельчанинова за опасной грамотой для наших послов, которые должны ехать поздравлять Генриха Валуа с восшествием на польский престол? – Иван Васильевич говорил эту долгую фразу размеренным голосом, но глаза его так и сверкали смехом.

– Да ведь восемнадцатого! – вспомнил, изумясь, Щелканов.

– Ельчанинову-то придется ждать короля, ведь ему наказано с панами Рады не говорить: государь ссылается с государем, а бояре с боярами.

– Боюсь, долго придется ждать Ельчанинову, – покачал головой Щелканов.

– Подождет. Мы, русские, терпеливые. – И вдруг царя ударило гневом, как молнией. – Вот она польская гордыня! Выбирали себе государя из многих государей, да закопались. Эрцгерцог австрийский Эрнест им нехорош, по нелюбви польской, знать, к австрийскому царственному дому. Иоанн, король шведов, был им плох – инаковерец. Правду сказать, сразу по смерти Сигизмунда-Августа благородные паны прискакали просить на престол нашего сына Федора. Но ведь мудрецы! Федору корона без наследования, а им отдай навсегда – Смоленск, Полоцк, Усвят, Озерище да в приданое Федору тоже надо было дать десять городов с волостями. Я им тогда сказал: наш сын не девка, чтоб за ним приданое давать... Они и меня звали, и я согласие дал, ничего не обещая...

– Зато французы распинались с пеной у рта, – напомнил Щелканов. – Король Генрих флот полякам заведет, чем воспрепятствует нарвской торговле. В Краковскую академию пригласит множество ученых, отправит на свой счет сто шляхтичей в Париж для занятия науками, наберет отряд гасконских стрелков... А приехал в Вавель без гроша. Сначала все балы давал, но очень скоро во дворце на обед подать было нечего.

– Так что же поляки думают теперь делать?

– Решено не объявлять бескоролье девять месяцев, до сейма. Если король не вернется, тогда будет созван конвокационный сейм*.

– Для избрания короля, что ли?

– Для избрания нового короля.

Царь положил голову на ладонь и задумался.

Василий Иванович смотрел на Грозного исподтишка, через ресницы. Удивился, какие длинные пальцы и какая белая у царя рука.

– Ладно, – сказал наконец Иван Васильевич. – Польские дела долгие, а нам надо о завтрашнем дне подумать. Иду с полками к Серпухову, как бы хан не нагрязнул. Хоть его на славу попотчевали при Молодях, а береженого Бог бережет.

С тем Дума и закончилась.

К Василию Ивановичу подошел боярин Иван Петрович Шуйский, обнял, поцеловал, поздравляя с началом службы, пригласил в гости.

У Ивана Петровича и у Василия Ивановича общим предком был сын Василия Кирдяпы князь Юрий, первый Шуйский. У Юрия Васильевича было два сына. Род Василия Ивановича пошел от Василия Юрьевича, род Ивана Петровича – от Федора Юрьевича. Братья были добрыми воеводами, не раз громили немцев да и москвичей. Но Федор Юрьевич, предок Ивана Петровича, перешел на службу к Ивану III, великому князю Московскому, и снова воеводствовал во Пскове. Сын его Василий тоже водил полки, тоже воеводствовал во Пскове, в Новгороде, и сын Василия – Василий Бледный, удостоился псковского наместничества. От Василия Бледного пошла ветвь Скопиных-Шуйских.

Дед Ивана Петровича, знаменитый воевода Иван Васильевич, дважды приходил к власти при малолетнем великом князе Иване Васильевиче, а дед Василия Ивановича – Андрей Михайлович – наследовал опекунство, да не надолго.

Отец Ивана Петровича, Петр Иванович, брал Казань, всю жизнь провел в походах, сложил голову, как и отец Василия Ивановича, в Ливонской войне.

Крыша на доме Ивана Петровича была обита белым железом, сияла. Дом казался огромным, но потолок парадной палаты был низкий, окна крошечные, добрая половина этой странной длинной комнаты пребывала в сумраке.

Иван Петрович улыбался родственнику с приязнью.

– Вот видишь, широко живем, но не больно весело. Я все время в походах, а назовешь гостей – половина из них окажется доносчиками. Наплетут с три короба, потом расхлебывай. – Лицо у князя вдруг стало виноватым. – Василий Иванович, не пойти ли нам в мою комнату?

– Помилуй бог! – с охотой откликнулся молодой князь.

Кабинет Ивана Петровича оказался совсем крохотным, но светлым, уютным и даже удивительным. Возле окна на небольшом столе стояла крепость. С башнями, со рвами, с пушчонками на башнях.

Иван Петрович не без смущения махнул рукой.

– Я, грешный, до сих пор в игры играю. Как какой недоросль. Смотрю на стены, на башни и придумываю, каким способом лучше взять ее, а бывает, придумываю, как оборонить. У меня и проломы случаются. – Он тотчас отнял часть стены и заслонил пролом гуляй-городом*. – Скажу тебе по секрету. Мне мои игры много раз пригождались в сражениях. И при Молодях тоже. Верь не верь, у нас про то мало думают, но при Молодях Русь спаслась от нового татарского ига. Так что на речке Рожай мы, царские ратники, заново родились. Говорят, мурзы еще в Крыму расписали русские уезды и города, кому что. Так-то вот, милый мой родственник! Ты небось и не знал, что твоя Шуя определена Дивей-мурзе или Тербердей-мурзе. Хан с малым войском не ходит. По его титулам положено выступать на войну, имея сто тысяч. Скажу правду, ста тысяч у Девлет-Гирея, может, и не было, а было у него – Большая ногайская орда, Малая, адыгейские беки со своими отрядами, крымские мурзы, из Стамбула султан прислал свою турецкую конницу, свои пушки – тысяч шестьдесят, а то и все восемьдесят.

Про нас могу тебе сказать очень даже точно. Я потом росписи по полкам смотрел. В большом, в Коломне, у князя Михайлы Воротынского, царство ему небесное, было восемь тысяч

ратников да пушки с пушкарями. Гуляй-города он тоже при себе держал. В Тарусе стоял князь Одоевский с полком правой руки. У него было три тысячи шестьсот ратников. В Лопасне, у князя Репнина, на пятьдесят человек побольше. Это полк левой руки. Я со сторожевым полком ждал татар в Кашине, имел же я всего-навсего две тысячи шестьдесят три ратника. Передовой полк князя Дмитрия Хворостинина находился сначала в Калуге, этот полк был второй по численности, но в нем не набиралось и четырех с половиной тысяч. Вот и считай, против шестидесяти, а то и восьмидесяти тысяч отборной конницы хана мы имели двадцать две с половиной тысячи бойцов... Так Бог послал: моему полку первому пришлось встретить татар. На Сенькином броде схлестнулись. – Иван Петрович замахал вдруг руками. – Господи! Заговорил тебя совсем.

Выскочил из комнаты, крикнул слуг:

– Варвара! Семен! Несите нам кушанья! А ты прости меня, Василий Иванович.

– Помилуй, князь. Кушанья хороши, но сладко поесть можно во многих московских домах, а вот набраться ума-разума – набегаешься. Бог даст, мне ведь тоже полки придется водить. Смилуйся, Иван Петрович, расскажи подробнее о сражении. Не зная как, старшие бились, много шишек насобираешь, пока воевать научишься.

Иван Петрович погладил чуть посеребренную бороду, сел рядом, положил руку на плечо молодому князю.

– Радостно слышать разумное... Да не иссякнут в роду Шуйских добрые воеводы... О Молодях же послушать и впрямь полезно. Преудивительное было дело! Бог нам помогал, но, скажу тебе, князь, мы тоже не очень-то оплошали... Первых татар, наскочивших на нас, мы одолели и развеяли. Тот бой случился в день собора Архангела Гавриила, а наутро явился к Серпуховским переправам сам хан. Выставил я гуляй-города, серпуховские дворяне и мужики подошли. Турецкие пушки далеко бьют. Стреляли по нас через Оку, а я стрелять не велел. Пустое дело. Уж не знаю, надолго бы нас хватило против такой силищи, но ночью Тербердей-мурза со всей своей ногайской конницей перешел Оку как раз у Сенькина брода. Застава у нас там была, но две сотни дворян против двадцати тысяч, как мышь перед медведем. Перелезли татары через Оку и повалили всей силой.

Бесшумные слуги ставили на большой стол у изразцовой печи кушанья и питье, Иван же Петрович, забыв про хозяйские обязанности, рассказывал и рассказывал.

– Тут как раз подошел с полком князь Дмитрий Иванович Хворостинин из Калуги. У него была еще судовая рать. Вятчи на стругах, девятьсот ратников. Сгоряча схватился с татарвой, да увидел, что сила перед ним несметная, а пушки, поспешая, не взял, гуляй-города тоже оставил – опаматовался, не полез на рожон, как медведь. Поторопился ноги унести подобру-поздорову. Хан сначала погнался за князем Дмитрием. И слава богу! Одоевский со своим полком правой руки из Тарусы успел на реку Пару прибежать, опередил татарскую конницу. Крепко бился, но где же было удержать саранчу? Отступил, спасая полк от истребления. Вот смотри! – Иван Петрович принялся переставлять на столе блюда, судки, братины. – Это татары. Перед ними пусто, никакой преграды! Они и двинули всей толпой к Москве, а князь Михаила Иванович Воротынский, не имея сил загородить дорогу, принялся бить татар в боки да хвост им покусывать. Ты слушай меня, Василий Иванович! Примечай! Ни в какой другой день, а на память равноапостольного святого князя Владимира полк Хворостинина нагнал крымский кош как раз на Молодях, на реке Рожай. Хан Девлет-Гирей был умен, ждал нападения, отрядил для охраны конницу сыновей-царевичей. Но Хворостинин уж так разохотился, что пробился своей конницей до ханских шатров. Девлет-Гирей тоже осерчал, пустил на какие-то две-три тысячи русских двенадцать тыщ ногайской орды. Сам Тербердей-мурза вел своих. Да Хворостинин тоже был непрост, навел ногайцев на гуляй-города, под наши пушки. Не одна, чай, тысяча полегла у супостатов. Девлет-Гирей и призадумался. Он уж перешел было Пахру, до Москвы оставалось тридцать верст, но нападать на большой город, имея в тылу войско, опасно, сам

можешь в плен попасть. И решил хан покончить с нашими полками. Мы его на Молодях ждали. Смотри! Вот тут, на холмах, стояли гуляй-города. – Иван Петрович передвинул блюдо с лебедем и два больших пирога. – Мой полк и полк Хворостинина прикрывали гуляй-города с тыла и с обеих сторон. Хан собирался взять нас испугом, всею силой нагрязнул, а мы его – пушками. Отразим приступ и сами вперед. Ударил я с моими ребятами этак, и попал к нам в плен, веришь ли, сам Дивей-мурза! Великий, первый воевода Девлет-Гирей. Тут уж хан рассвирепел, приказал отбить своего мурзу, и потекли на нас татары, как тьма. Но пушки свое дело делали, и никто из нас не дрогнул. Четверо мурз, предводители ханского войска, в том бою сложили головы, и среди них Теребердей-мурза. Ровно четыре дня кидался хан на наши гуляй-города, как бешеный... Лихо нам пришлось. Ой, лихо! А мы догоняли татар налегке, обозы побросали. Сидим голодные, воды мало...

Иван Петрович расставил блюда и пироги на прежние места, глаза у него смеялись.

– Знаешь, чем сразили хана? Хитростью. Хитрость на войне больше большого полка. Подкинули хану грамоту: дескать, идет на помощь земским полкам великая новгородская рать царя Ивана Васильевича. Девлет-Гирей тотчас и поубавил прыти. Нападать нападая на гуляй-города, но с оглядкой. Тогда воевода Воротынский взял да и рискнул: оставил в деревянных крепостенках наших полк Хворостинина и меня – приглядывать, чтоб за спину не зашли, а сам лощиной полез поглядеть на загривок Девлет-Гирею... Пока Воротынский крался со своим полком, Хворостинин палил по татарам изо всех пушек, а как вспыхнула на горке за спиной у татар одинокая сосенка, так вышел с полком из-за гуляй-городов и ударил по изумленным татарам, а с тылу грянул на них князь Воротынский. Говорят, Девлет-Гирей первым кинулся улепетьвать. Тут все войско его и рассыпалось. Уж только на Оке заслонил свою переправу отборным пятитысячным отрядом сейменов. Изрубили их наши. Среди убитых потом нашли сына ханского, внука. Многих мурз в плен побрали. На то воля Божия. Собирались владеть нашими городами, сделать нас рабами и данниками, а Господь Бог не попустил.

После такого рассказа вино пилось с удовольствием. Но о своем молодой князь тоже не забыл спросить.

– Иван Петрович, скажи, бога ради! – В глаза поглядел князь. – Как служить, чтоб не прогневался великий государь? Как жить?!

Бывалый воевода перестал есть, отер бороду левой рукой, правой показал на божницу.

– Уповай на Всевышнего. Как жить, спрашиваешь? Как служить? Не знаю... Я служу на совесть. И, слава богу, пока жив. На боярина Никиту Романовича Юрьева поглядывай. Знаменитый боярин, а царь его не трогает. Знаешь почему? Нет за ним никакой вины! Правду сказать, никогда и ни за кого Никита Романович ни единого слова не замолвил. Невинных людей на плаху тащили – молчал, родных поджаривали в застенке – тоже молчал. В нынешнее царствие – умеи молчать! – И усмехнулся. – За иное молчание тоже головы рубят.

12

«Господи, избавь меня от царской любви и от царской тайны», – молился Василий Иванович, воротясь к себе домой.

Он любил свой дом. С кухни вкусно пахло сухарями, ибо он приказывал корок и кусков, оставшихся от еды, не раскидывать, а сушить и хранить до черного дня.

В светлице, под иконами, стояли сундуки с книгами. Сразу пять книг лежало на столе, толстых, богато изукрашенных буквицами, с рисунками. Две книги в сафьяновых переплетах, одна в простом, из толстой кожи. Другие две обложки имели из золоченого серебра, с самоцветами, с жемчугом. Он читал сразу все пять, и тоже ради царя, великого книгочея, чтоб не ударить лицом в грязь, коли чего спросит.

После пиршества с князем Иваном Петровичем книги на ум не пошли; вспомнилась Василиса, летавшая на березах. Василия Ивановича корбило разъяснять комнатным людям, кто ему нужен и где искать, но, повздыхав, пошел-таки к ехидноглазой кормилице своей, к Акулине, распорядился.

Василису привели нежданно быстро. Сарафан на ней был алый, рубаха жемчугом речным по вороту обшита. На голове кокошник.

– Тебе и этот наряд к лицу! – сказал Василий Иванович, больше глядя себе под ноги, чем на девицу.

– Господи, помилуй! – обливаясь слезами, упала на колени Василиса. – Силком меня увезли от батюшки, от матушки.

– Ты меня не узнала?! – спросил князь, испугавшись слез.

– Как не узнать, господин? Отпусти меня, я тебе не ровня, крестьянского роду!

– Встань, – сказал Василий Иванович. – К столу садись.

Девица поднялась, но с места не сошла.

– Говорю, к столу садись.

Сам взял за дрожащую руку, подвел к столу, усадил.

– Вот вино сладкое, вот пряники, изюм, вишня в меду. Отведывай, кушай!

– Отпусти меня, господин!

– Сама же говорила... Или не помнишь? Если батюшка твой за вдовца тебя отдаст...

– Говорила, – вздохнула девица, опуская голову.

– Собиралась ты ко мне приходиться?

– Собиралась.

– Вот и утри слезы, ради бога.

Василиса покорно отерла подолом глаза и щеки.

– К тому, в лапоточках, я бы пришла... Да ты вон кто! Меня силой тащили, будто я дерево, будто души у меня нет.

– Не по нраву я тебе, видно.

– Отчего же не по нраву? – сказала Василиса, подняв на мгновение глаза. – Ты молодой, пригожий... А я для тебя, лебеда, – серая утка.

– Возьми пряничка!

– Ничего я не хочу. Домой отпусти.

– Вот что, – сказал князь, теряя терпение. – К твоим родителям завтра же поедет гонец. Отвезет им подарков, денег... Три рубля! Пожелают, всю твою родню в Шую перевезут, будут среди дворни моей жить... Пожелают – будет им отдельный дом.

– А мне за это только и надобно, чтоб девство отдать тебе? – спросила Василиса спроста.

Князь покраснел, отвернулся.

– Коли будет в твоём сердце то же, что в березовой роще, тогда приходи... А теперь ступай к себе.

Василиса вскочила, пулей вылетела из княжеской светлицы.

Князь поглядел на хлопнувшую дверь, выпил вина, открыл книгу и начал читать прилежно: «Бысть во граде Филумене царь именем Аггей, славен зело. Стоящу же ему в церкви во время Божественной литургии, и чтушу иерею Святое Писание людям. И егда доиде до строки, в ней же написано “Богатые обнищают, а нищие обогатеют”. Слыша же сие, царь и рек с яростию: “Ложь сие во Евангелии написано! Аз есмь царь и славен и богат зело. Како мне обнищати, а нищему обогатети и вместо меня царствовать?”»

Поморщился Василий Иванович, пошел спать, не погасив свечи.

Через малое время в спальню его вошли, свечу задули.

– Меня кормилица Акулина прислала, – услышал он воркующий голос, и теплое доброе тело легло под его одеяло, и он, не досадуя, принял добрые бабы ласки, отданные ему жалеючи. Он и сам себя, засыпая, пожалел, убаженный владелец рабов и рабынь.

Утром Василий Иванович придумал пойти в торговые ряды, купить Василисе перстенок, а то и ожерелье, но неожиданно приехал брат Андрей Иванович. Брат, служа царевичу Ивану Ивановичу, службе своей весьма удивлялся, но был доволен.

– С утра до вечера с девками да с бабами возимся. Сначала выбираем трех пригожих девственниц, заплетаем им в волосы жемчуг и всякие камешки и в чем мать родила ведем пред очи Ивана Ивановича. Одну он берет себе, других нам отдает, а потом пробуем всех подряд, какая баба самая сладкая. Эту, сладкую, наряжают царицей, и начинается пир, покуда все под стол не повалимся.

Обнял брата Василий Иванович, к божнице подвел, сказал шепотом:

– Молодись, Андрей Иванович! Время пришло быть молодым, но молю Господа и прошу тебя нижайше – не теряй головы в гульбе. Песни возьмутся петь – пой, материться станут – матерись, Бог простит дурака. Но пуще огня берегись умных разговоров. Слушай и молчи! Царь к царевичу приставил многих своих шептунов. Иван Иванович мужает, царя страх берет...

Андрей Иванович улыбнулся, благодарно обнял и поцеловал старшего брата.

– Я, Вася, настороже. Помню, да и ты о том не забывай, – коли прогневим великого государя, ты ли, я ли – полетят пять голов.

Прослезился Василий Иванович.

– Дадим обет Господу Богу, брат: быть между собой в вечном союзе, служить корню нашему, имени нашему, ибо Шуйские мы!

– Крепче любой клятвы кровь наша! – сказал Андрей, но все ж поцеловал образ Спаса, и Василий поцеловал. Посмотрели они в глаза друг другу, хорошо посмотрели.

Тотчас и разъехались. Андрею Ивановичу нужно было на охоту соколиную собираться, царевич его звал в Хорошево. Василий же Иванович поспешил в Успенский собор на вечерню. Уходя, сам не ведая зачем, взял с собою денежек. На подаяния был не щедр. Давал одному, редко двум-трем, а тут взял горсть и еще разок черпнул из полного ларца.

13

Молился Василий Иванович, по сторонам глазами не зыря, но когда все же на царское место поглядел, то и огорчился: царя на службе не было. Стоял Василий Иванович у левой стены, под иконой равноапостольного царя Константина и матери его – царицы Елены. И хоть знал про себя: ради царя выказывает прилежание, отбивая многие поклоны и подпевая певчим, но, огорчившись, рвения не убавил, веруя: «Что Бог ни делает – к лучшему».

Прикладываясь к иконе, увидел рядом с собой огромного монаха, который не только поцеловал икону, по и слезами ее окропил.

Василию Ивановичу сначала пришла мысль суетная: «Неужто монаха приставили смотреть за новым придворным?» Но показалось чрезмерным, чтоб соглядатай плакал, целуя иконы. Да ведь икона-то была не из тех, перед которыми каются или просят о здравии. Василий Иванович обернулся на монаха, а тот на коленях стоит, голову опустил. Удивил лоб – уж так стянут кожей, того и гляди – лопнет. И обомлел – царь! Царь Иван Васильевич позади него Богу молится. Упал в страхе ниц, крича душою Господу от ужаса: «Смилуйся!»

Служба, по счастью, к концу подходила, а когда кончилась, царь тронул своего оруженосца за локоть и сказал шепотом:

– Пошли тюремным сидельцам милостыню подавать.

И возблагодарил князь Василий в безмолвной молитве Господа, что взял денег с собою.

Хождение по тюрьмам было долгое. Иван Васильевич совершал подавание молча, помалкивал согласно с государем и его оруженосец.

Обойдя тюрьмы, привел государь князя Василия к Константиновским воротам, где в Отводной башне помещался застенок и где в стене были понаделаны каменные мешки для татей и самых лютых врагов царя. Один сиделец крикнул из ямы:

– Будь милосерден, царь Иван! Я уж столько сижу, что рубаха на мне сгнила. Холодно в яме!

– Пожаловал бы тебя, – сказал царь, – да на мне самом одна ряса и есть.

Не подумавши, по сердечному движению, князь Василий скинул с себя кафтан да и кинул просителю.

– Вот и подал тебе Господь! – сказал сидельцу царь. – Сиди – не тужи. Да не забудь о здравии князя Василия Ивановича Шуйского помолиться. Щедрый человек. И мне слуга добрый.

Князь Василий до земли царю поклонился, а тот прибавил:

– Отдохнул я с тобой душою, князь. Поезжай спать с Богом. А у меня, у грешного, дела, не хватает дня для всех царских дел. Веришь ли, устал я царствовать...

– Государь, погибнем без тебя! – воскликнул Василий Иванович.

Грозный, огромный, в черном, на белой стене был как столпник. Князю подвели коня, и когда Василий Иванович, поклонившись государю, сел в седло и, шевельнув уздой, поскакал, царь вдруг крикнул вдогонку:

– Не без меня, а со мной погибнете!

14

Сердце сильней ума. Умом Василий Иванович понимал: нечаянно попал царю на глаза, случилось то, чего надо было страшиться, а сердце, как малый ребенок, радовалось – царь добрым словом пожаловал. Похвалил!..

Отоспавшись после ночного хождения, с легкой душой поехал на Пожар, в торговые ряды, купить Василисе ожерельице, авось подобреет.

Видно, в счастливую пору вошел. В первой же лавке кинулись ему в глаза бусы из синих камешков, держащих в себе чудный таинственный огонь. Спросил цену. Купец заломил, да так, словно ему прогнать хотелось покупателя. Василий Иванович вздохнул, принялся разглядывать стеклянные бусы. Тоже ведь блестят.

– Степеннейший! – раздался вдруг молодой веселый голос. – А ведь ты не прав! Пошто обидел князя? Аль не ведаешь, князь Шуйский у великого государя – первый рында!

Василий Иванович узнал в добром веселом молодце Бориса Годунова. Борис служил у царевича Ивана Ивановича рындой с копьем, был вторым после брата Андрея.

Купец проворно поклонился Василию Ивановичу и подобрел:

– Князю Шуйскому – почтение и многие лета. От князей Шуйских купечество всегда видело благоволение и защиту.

– Так что ж ты, сукин сын, такую безбожную цену за стекляшки свои запрашиваешь?

– Борис Федорович! – поклонился купец с достоинством. – Сии камешки редкой красоты. Цену я, грешный, может, и завысил, но не намного.

– Ты свою песню оставь. Сколько взаправду просишь?

– У меня таких денег нет, – поспешно сказал Василий Иванович. – Куплю стеклянные.

– Ты слышишь?! – закричал на купца Годунов. – Чтоб рында с большим саадаком покупал стеклянные бусы! Да разобьет тебя гром!

– Не гневи Господа, добрый человек! – сказал купец рынде с копьем, перекрестился, взял бусы и подал Шуйскому. – Сколько сам даешь?

Денег у Василия Ивановича и впрямь было на стеклянные бусы, Годунов столько и предложил.

– И твое такое слово, князь? – спросил купец Шуйского.

Василий Иванович насупился, принял бусы и назвал две трети запрошенной цены.

– Спасибо, князь! – обрадовался купец. – Шуйские они и есть Шуйские. Бери сию красоту. Возьму же с тебя четверть цены.

– За деньгами прошу ко мне домой пожаловать, – сказал Василий Иванович. – Таких денег не ношу с собой.

Годунов смотрел на князя веселыми глазами. Посмеивался.

– Зря ты, Василий Иванович, мой торг сбил. Он бы отдал камешки, как ему сказано было.

– Да ведь это сапфиры!

– Подумаешь! – И, зыркнув по сторонам, вдруг сказал: – Царь-то, Иоанн Васильевич, бежать собрался.

У Шуйского от ужаса вытянулся нос.

– Думаешь, брешу?

Шуйский молчал.

– А-а! Не бойся ты! Не мое это дело – выводить на чистую воду царевых изменников. Я брата твоего полюбил. Молод, а ума больше, чем у Мстиславских с Романовыми, коли умишко-то их вместе сложить. Мы, молодые, вместе должны держаться... Про царя правду говорю. Он вчера утром позвал английского гонца Сильвестра и велел ему домой собираться: пусть королева Елизавета на своем королевском совете решит, какой двор могут дать русскому царю-изгнаннику, сколько слуг позволят иметь. – Смотрел нагло, а слова и подавно были крамолой и крамолой... И вдруг вздохнул: – Такие вот дела, рында с большим саадаком... Вместе нам надо держаться, коли грянет беда.

– Я за царя-батюшку голову положу! – прошептал князь.

– Так и я положу! – сказал Годунов, сверкая белыми зубами. – Прощай покуда!

Василий Иванович побежал было, забыв, что и у него лошадь на коновязи. Дома заперся в чулане, за своей спальней.

Сидел на корточках, пот бежал по вискам, щекам. Не только обе рубахи – кафтан промок, а в голове – звон и пустота!

Наконец Василий Иванович вышел из ненадежного своего укрытия, умылся, переоделся. Велел привести Василису.

Девушка пришла босая, в своем белом, вышитом васильками платье. Поклонилась до земли.

– Отпусти меня, господин! На мне твоего ничего нет. Отпусти, я пешком до дома дойду.

– Чего тебе пешком ходить? Лошадей в конюшне три сотни. А то, что на тебе моего нет, так будет.

Подошел к девушке и опустил на ее высокую шейку купленные на Пожаре бусы. Подтолкнул упрямыцу к зеркалу.

– Да поглядишь же ты, Василиса-краса!

– Царица Небесная Матушка! – Над шитым васильками воротом, будто звезды, горели дивные камешки, глаза, напитавшись их сиянием, были точь-в-точь как эти камешки, только еще темнее, горячее, небесней.

Василиса не узнала себя.

– А платье-то мое!

Василий Иванович вдруг поклонился девушке.

– Прошу тебя, не покидай меня. Мне так худо теперь. Может, завтра уж и голова долой.

Она посмотрела на него с испугом. Дотронулась до мокрых волос, прилипших ко лбу косицами.

– Уж не трияеуница ли у тебя? Господи, какой ты, бедненький. Поберегу тебя, пожалею. Польшки бы заварить. А бусы возьми от греха! Они ж небось царицыны. Меня еще кто и убьет за них.

– Носи, если нравятся! Никто тебя пальцем не тронет. В моих хоромах будешь жить.

– Да как же так?

– Будешь за рукодельницами приглядывать.

– За мной бы кто приглядел. Молода я быть людям хозяйкой.

– За тобой я сам пригляжу.

Сделал к ней шажок, опасливо обнял, а она, как стрекоза, затрепетала.

15

Тихо было в Москве. Стояло летнее доброе тепло. Каждый день набегали тучки, поливали землю теплыми, короткими дождями. Трава на солнце сверкала, омытые купола церквей сияли.

Тихо было и в Кремле. Перед обедом царь взял с собой кто на глаза попался: правителя Бориса Давыдовича Тулупова, князя Шуйского, чудовского архимандрита Евфимия, лекаря Елисея Бомелея. Отправились к старому сокольнику. Сокольник ездил на охоту с царевичем, кто-то нечаянно вышиб старика из седла, и тот сломал ногу.

Домишко у сокольника был невелик, от неожиданных гостей сделалось тесно, но государь посидел перед страдальцем на лавке, вина поднес. Денег оставил. Архимандрит Евфимий благословил. Тулупов и Шуйский, вслед за царем, подарили сокольнику деньги.

Бомелею же царь повелел быть возле больного, наказав лечить и вылечить, чтоб не остался хромым.

Василий Иванович в этом походе все на царя глядел да на князя Тулупова. Князь Борис Давыдович был высокий, под стать Грозному, но тучный, медлительный. Потел, вздыхал... Озабоченный многими делами, спрашивал Ивана Васильевича о том и о другом, но царь только пофыркивал, как кот:

– Сам умный, а помощник твой даже по фамилии Умной! Решайте как знаете. Я – человек старый. Мне на покой пора.

Старому еще и сорока четырех лет не исполнилось.

Князь Тулупов снова вздыхал, обливался потом: наводил тоску, а вот царь Василию Ивановичу очень нравился, воистину ведь заботливый человек, к простому сокольнику поспешил на помощь.

В ту ночь спал Василий Иванович с Василисой. Позвал постель перестелить да попросил лечь в постель: мягко ли?

– Мягко, – сказала Василиса.

– А тепло ли?

– Тепло.

– А мне одному холодно. Согрей меня!

Она и осталась.

Разбудили их уж поздно: брат приехал, Андрей Иванович.

– Что делается-то, Господи!

– Что?

– У Пречистой, перед Иваном Святым архимандриту Чудовскому Евфимию голову отрубили.

– Кто, Господи?

– По указу царя.

– Евфимию?! – Василия Ивановича затрясло.

Вчера, только вчера царь улыбался архимандриту, брал его под руку, подводя к болящему сокольнику. Вчера всеми почитаемый... ныне предан топору. Еще и солнце-то не поднялось как следует, а голова чудовского – чудовского! – архимандрита уж стукнулась об окровавленный помост.

Князь Андрей кликнул слугу, сам подал брату ковш воды.

Василий Иванович покорно напился, намочил бороду и рубаху на груди.

– Не одного Евфимия, – сказал князь Андрей, – казнили протопопа Амоса из храма Николы Гастунского... Дворян, купцов... А головы, знаешь, куда метали? К новому двору князя Ивана Федоровича Мстиславского.

Василий Иванович в исподней рубахе, босой, прошлепал, как гусь, через спаленку, опустился на лавку и замер – истукан истуканом. Князь Андрей сел рядом.

– За что? – спросил старший младшего.

– За измену.

– А вчера измены, знать, не было?

– Наше дело – сторона.

Василий Иванович обнял Андрея.

– Наше дело – сторона! Умница! Упаси нас Боже мешаться в дворцовые игрища. Андрей, заклинаю тебя памятью отца и матери. Не ластись к царевичу! Царь Иван всю Русь зарежет, мня, что на место его царское есть покусители.

О Годунове даже не помянул. Андрей – человек супротивный.

Более всего ужасало Василия Ивановича, как он поглядит теперь на паря? Отвести взгляда невозможно, станешь врагом царю. А как в глаза глядеть?

Ничего! Обошлось. Приехал на службу в Думу и, себе на удивленье, удостоился царской милости. Иван Васильевич даровал торговому городу Шуе уставную грамоту*. Такие грамоты имели не многие города. Да ведь и то сказать – Шуя торговала с Казанью, с Нижним Новгородом, с Тверью, с Великим Новгородом, со Псковом, с Рязанью...

Привез грамоту домой, хотел братьев позвать, отпраздновать царскую милость, и слег. Проболе л остаток лета, вернулся на службу только осенью. А во дворце суматоха, царь Иван Васильевич решил жениться. В пятый раз, на княжне, на красавице Марье Долгорукой.

Отрубив голову чудовскому архимандриту, испрашивать разрешения на венчанье у священства царь не посмел. Свадьбу не играл. Отобедал с родителями невесты, пригласил за стол царевича Ивана да комнатных своих слуг.

Князь Василий Иванович на свадьбу зван не был, но, приехав утром во дворец, получил от третьего дворового воеводы Федора Нагого царский указ проводить царицу Марию вместе с Веригой Третьяковым, сыном Бельским, да с Григорием Неждановым, сыном Бельским, куда царице надобно. Верига Третьяков носил царское копье, Григорий второй саадак, но ехать-то нужно было не с царем, а невенчанной женой. Ахти сомнительная служба! Смолчал Василий Иванович. Духа не хватило затеять местнический спор*.

Карета уж стояла у царского крыльца, царица сидела в карете, а проворные слуги обивали дверцы серебряными гвоздями. Коней почему-то не было. Наконец привели шестерку совершенно диких. Всадники плотно окружили коней, и странный поезд поскакал.

– Куда мы? – спросил Шуйский у Вериги, но тот не знал.

Удивили Василия Ивановича пестрота и малолюдство свиты.

Выехали за Москву, за строящуюся стену. С прямоезжей дороги свернули в луга, мчались проселком, как угорелые, все скорей да скорей. Князь оглядывался, не понимая бешеной спешки. Бежали, что ли, от кого?

Вдруг впереди сверкнула вода. Возницы загикали, засвистели. И тут случилось злодейство. Ловкие люди Нагого прыгнули в стороны от диких лошадей, запряженных цугом. Карета

неслась по косоугру вниз, пылая красными спицами колес, а люди Федора Нагого палили из пистолей. Кони, обезумев, понесли всяк в свою сторону.

Василий Иванович рванулся в седле, но умная рука его держала узду намертво. Никто с места не тронулся, когда карета плюхнулась в воду и, чуть покачиваясь, поплыла. Кони храпели, бились, в карете билась царица, да серебряные гвозди набиты были часто, двери не отворились...

И тут Федор Нагой пальнул из пистолета, целя в голову передней лошади.

– Ребята, утки!

Палили, куда конские головы не ушли под воду. И карета ушла.

– Гойда! – крикнул Нагой. – Государь ждет нас в слободе!

Скакали, как татары, с визгом, с улюлюканьем. В ушах Василия Ивановича звенело от пальбы, и сверлила голову всего одна мыслишка: «Причислен ли ты, раб Божий Василий, к сонму злодейства или ты тоже мученик?»

Ответа не было.

По небу ползли серые осенние тучи, тяжелея, оседая к земле. Посыпался дождик, да не осенний мелкий, как пыль, – иной. Каждая дождинка была с денежку, падали капли редко, щелкая.

– Слезы! – прошептал князь Василий, норовя слизнуть дождинку с усов: не солон ли?

В Александровскую слободу* приехали глухой ночью. Утром, выйдя на крыльцо, Василий Иванович обомлел: золотой купол на церкви красили черными полосами.

– Память по царице Марии, – сказал Шуйскому одетый в черную рясу молодой монах.

– Годунов?! – изумился Василий Иванович. – Ты в послушниках?

– В послушниках, князь. У царевича Ивана Ивановича. Мы в слободе все так одеваемся. По-старому, по-опричному. Да что ты меня чуждаешься, Вася? Мы же с тобой родня, родственники. Лишнее слово сказать боишься. Живи, пока жив! Один Господь знает, где оступимся.

И повыл, намекая, кто обитает в царской слободе, и который уж раз ужаснул Василия Ивановича.

16

Худо было в слободе. То молились, то бесились. После разгульного пьянства царь Иван наложил на себя и на слуг своих жестокий трехдневный пост. Пили святую воду, ели по сухарю в день.

А пост кончился, царь вдруг вспомнил: у бывшего опричника, у дьяка нынешнего, у Дружины Володимерова жена весны краше. Послал привезти.

Привезли. Три дня царя не видели. На четвертый утром загудели гудошники, забубнили бубны. Высыпали обитатели Александровской слободы узнать, что за праздник у великого государя.

Ряженные в скomoroxов комнатные люди Ивана Васильевича кричали, собирая народ:

– Москва совсем поглупела! Бабу, дьячиху, с Весной равняла! Поглядите сами, Весна или не Весна, красна иль не красна?

Из царских покоев, держа за руки, вывели одетую в одни только красные сапожки женщину. Поставили у березы.

Ноябрь на Руси – холодный месяц, но так уж вышло: ни мороза, ни дождя, ни ветра, солнца тоже не было, но от земли поднимался парок последнего тепла.

Смотрел Василий Иванович на несчастную с прилежанием. Знал, царские слуги следят, запоминают недовольных.

Жена Дружины Володимерова ни на что доброе уж не надеялась. Стояла гордая, чистая в своем позорище, красотой посрамляла мучителей.

Грудь высокая, плечи детские, нежные, бедра – только деток плодить. Бела, как снег, а волосы пепельные, легкие, до пят, в глазах – молитва.

Молчали бывалые слуги Грозного. Скоморохи всполошились.

– От Ивана Васильевича! Подарочек! – толкнули женщину в толпу.

Нашлись охотники, уволокли, надругались. Потом убили. Труп отвезли в Москву. Повесили в доме Дружины Володимерова. Над столом. Слуг приставили. Неделю дьяк обедал под трупом супруги. Сам опричник, знал повадки своих, кушал. А когда не мог, его насильно пичкали.

Иван Васильевич про соперницу Весны скоро забыл. Навалились дела государственные, наитайнейшие. Первая тайна – не было денег на войну с Ливонией. Другая тайна – польская корона оставалась сиротой после бегства Генриха Анжуйского.

Гонец Ельчанинов, отправленный поздравлять короля Генриха с восшествием на престол, короля не дождался, но дождался сейма. Спешил теперь сообщить: приходил к нему ночью староста жмудский*, литовец, просил, чтобы царь отправил в Литву посланника, с жалованными грамотами ко всем владетельным людям Литовского царства. Жмудский староста хотел бы видеть вновь избранного короля в Вильне, а не в Кракове. Часть поляков тоже думала избрать своим королем московского царя или же сына его – царевича Федора Иоанновича.

Иван Васильевич корону польскую желал, но не верил, что католики-поляки выберут в короли православного государя. Однако теперь он заспешил, отправил в Польшу гонца Бастанова. Бастанов откликнулся быстро: верно, литовская рада желает видеть своим королем московского царя, того же хотят польский народ и мелкая шляхта.

Дело пошло горячее, были написаны грамоты к панам радным, к краковскому архиепископу, гнезненскому. Повез все эти грамоты посланник Новосильцев. А великий государь Иван Васильевич, пока сердце у него радовалось, решил сыграть свадьбу. Без венчания, но настоящую свадьбу. Невесту нашел его новый любимец Василий Умной-Колычев. Звали невесту Анной, как матушку Богородицы, а фамилией не удалась – Васильчикова, из худородных.

На свадьбе у царя из именитых были Иван Федорович Мстиславский, Колычевы скопом да Шуйские. Воевода боярин Иван Петрович, воевода боярин Василий Федорович Скопин-Шуйский, трое старших сыновей князя Ивана Андреевича – Василий, Андрей и Дмитрий.

Говорили, что на свадьбе принца датского Магнуса с Марией Старицкой Иван Васильевич плясал, поколачивая опричников по головам своим жезлом, чья голова крепче. Шутил. Царь и теперь придумал славную шутку. Разгоряченных вином и праздником гостей повел на Пыточный двор.

Государевы работнички заранее доставили в застенок холопов каждого из гостей. Теперь этих холопов жгли огнем, а великий государь спрашивал:

– Скажи царю правду, кто из бояр наших злой изменник? – и помогал мученику. – Ты человек Васьки Умного? Изменник твой господин? Нет?! Ты вспомни.

И подмигивал кату. Холопа тотчас подвешивали на раскаленном крюке за ребро, и несчастный кричал, не помня себя:

– Изменник! Изменник!

– А я-то верил тебе! – говорил государь Умному-Колычеву и переходил к другому несчастному.

– Кто твой господин?

– Князь Борис Давыдович Тулупов.

– Борис Давыдович у меня в великом почете. Я ему все важнейшие дела царства отдал...

Скажи нам, как перед Богом, не замечал ли ты чего худого за князем?

– Нет, великий государь! – говорил, обливаясь потом, несчастный.

– А что теперь скажешь?

Снова пахло паленым мясом, о стены башни бился истошный крик:

– Изменник! Изменник!

– Бедный я, бедный! – охал Иван Васильевич и шел к следующему.

– А изменник ли князь Васька Шуйский? – услышал вдруг Василий Иванович, и сердце у него остановилось.

– Изменник! – завопил холоп.

– Злой изменник?

– Злой!

– Да чем же он изменил?

Холоп орал благим ором, глядя на раскаленные добела щипцы.

– Довольно, – сказал царь и, поглаживая Василия Ивановича по голове, смеялся, и бояре вторили царскому смеху.

С тем вернулись на свадьбу.

Впервой, да при самом царе, князь Василий Иванович хватил полный ковш вина и заснул. Кто-то из шутников подставил ему под голову блюдо, развеселив Ивана Васильевича.

Зима прошла покойно, но весной царь поостыл к красавице жене и, все еще надеясь получить без лишних хлопот польскую корону, но уже ревнуя юного тихого сына своего Федора к этой преславной короне, умыслил женить его не на принцессе, а на девице рода незнатного, однако для собственного трона полезного. Бориска Годунов указал Ивану Васильевичу на сестру свою, на красавицу да на умницу Ирину.

Сыграли свадебку. Поднялись Годуновы из ничтожества до седьмых небес. Шепчи о них не шепчи, никуда не денешься: родственники царя. У Ивана-то Ивановича, старшего сына, наследника до сих пор нет, расстареется Ирина Федоровна, и будет в наследнике кровь Годуновых.

17

Начало 1575 года для московской знати получилось суетное. Царь обстраивался в Новгороде. Было известно: на Никитской улице обновляют двор, который новгородцы уже называют «государевым». В селе Королеве, недалеко от Хутынского монастыря, поставлены царские конюшни, село Холынь именуется государевой слободой, обнесено тыном, дома строят здесь улицами.

Бояре, приглядывая друг за другом, принялись кто дома в Новгороде покупать, а кто и строить.

Все пятеро братьев Шуйских собрались у старшего, у Василия Ивановича: Андрей – умный, Дмитрий – красивый, Александр – ласковый, Иван – Пуговка. Уж такое у него прозвище. Младшие были еще в отроческом возрасте, Александру десять лет, Ивану девять.

– Не успеем оглянуться, – говорил Василий Иванович, – как все бояре обзаведутся в Новгороде дворами рядом с двором государя.

– За царем не уgonишься, – возразил Андрей. – Он на днях послал людей в Вологду строить большие ладьи, такие, чтоб по морю ходили. Возьмет да и поставит свой двор в Вологде. Что тогда?

Дмитрий загадочно улыбнулся и показал глазами на братьев-отроков. Отроки поняли: будет сказано нечто тайное, не для их ушей. Поднялись, вышли.

– Мне Борис говорил, – шепнул братьям Дмитрий, – Иван Васильевич строит ладьи, чтоб в Англию уплыть.

– Молчи! Молчи! – закричал на Дмитрия Василий.

– Да ведь и я про то слышал! – сказал Андрей. – От царевича Ивана Ивановича. Говорил нам с Борисом, будто батюшка его собирает казну и хочет отвезти в Соловецкий монастырь. От Соловков до Англии – плаванье не больно далекое. Придут большие корабли от королевы, казну погрузят, и уплывет от нас царь Иван Васильевич.

Василий снял из божницы икону Спаса.

– Целуйте! Клянись! Нигде, никогда про царя Иоанна ни единого слова, кроме как славы ему, не говорить.

Братья послушно приложились к иконе.

– Так стоит ли двор-то в Новгороде ставить? – спросил Андрей.

– Землю надо купить, – решил Василий, открывая дверь и вводя в комнату Александра с Иваном. – На их имя. А в Москве нужно нам поставить амбары для новгородских и псковских товаров. Купцы нам спасибо скажут.

– Купеческое спасибо не без золотца! – засмеялся Дмитрий.

– В Шуе надо дать волю новгородским и псковским купцам, – сказал, поглядывая на Василия, Андрей.

– Согласен с тобой. Я распоряжусь, а ты подумай, что можно доброго сделать для московского торгового люда.

– С князем Тулуповым надо бы подружить! – предложил Дмитрий. – У Тулуповых давняя приязнь с новгородским архиепископским домом.

– Это верно, – съязвил Андрей, – мой тезка князь Андрей Тулупов сложил голову в одно время с архиепископом Пименом.

– Своим умом будем жить, братья, – примирительно сказал Василий, – потому всякую мысль надо не таить друг от друга, а высказывать и обдумывать... Я при государе состою, Андрей – при царевиче Иване, правителе Новгородской земли, мы своего в Новгороде не упустим.

Братья отобедали, поспали после обеда и дружно отправились в церковь помолиться сообща о родителях, о родичах.

18

В свободные дни и часы князь Василий Иванович предавался любимому своему занятию: читал книги.

Однажды Василиса осмелилась попросить его, чтоб читал он вслух, славно слышать любимый голос.

Василия Ивановича просьба Василисы весьма утешила, и теперь, берясь за книгу, он звал ее к себе.

Случилось ему читать «Завещание святого Нила Сорского*». Сборник был велик, а завещание коротко, но слова-то в нем были уж такие тяжелые, золотых слитков увесистей.

– «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Завещаю о себе моим вечным господам и братьям, людям моего нрава молю вас, – читал Василий Иванович проникновенно, – бросьте тело мое в этой глуши, чтоб съели его звери и птицы...»

– Ой! Ой! – вскрикнула в испуге Василиса. – Прости меня, бога ради, Василий Иванович! Да ведь слушать страшно!

– Сотвори молитву безмолвную и внимай, – строго сказал князь, – Нил Сорский подвижник знаменитый. Его при жизни почитали за святого... Ну, приготовилась? Внимай. «Бросьте тело мое в этой глуши, чтобы съели его звери и птицы, потому что грешило оно перед Богом много и недостойно погребения».

Василий Иванович поглядел на Василису и объяснил ей:

– Строг был преподобный. На Афоне и в Палестине постигал монашескую науку. Ты запоминай, что читаю. Сие чтение – спасительное для души. «Если же этого не сделаете, тогда, выкопав яму глубокую на месте, на котором живем, со всяким бесчестием погребите меня. Бойтесь же слова, которое Арсений Великий завещал своим ученикам, говоря: на суде стану с вами, если кому-нибудь отдадите тело мое. Я стараюсь, насколько в моих силах, не быть сподобленным чести и славы века сего никакой – как в жизни этой, так и по смерти моей».

Василий Иванович вздохнул.

– Вот прочитал, окинул внутренним взором всех, кого знаю, и открылось мне: ни у кого не хватит духу приказать этакое о теле своем!

– Даже среди крестьян такого не водится, – охотно подтвердила Василиса.

– Среди боярства мертвому уж такая бывает честь и слава, какой живыми не видывали, не слыхивали. Уж больно мы привязаны к брэнному телу своему.

– Души никто не видывал, – сказала Василиса, помаргивая глазками, – а тело вот оно, теплое. Погляжу я на тебя, князь, и песенку хочется спеть... Тихохонько-тихохонько! Как синичка поет.

– Ласковая ты у меня, – сказал Василий Иванович и закрыл суровую книгу.

Разок погладил Василису по головке, а другой раз не пришлось. Гонец от царя прискакал: в поход собирать.

Ходили в Серпухов хану Девлет-Гирею навстречу. Постояли, подождали, но слухи о татарах оказались ложными. Видно, хан еще не опаматовался ни от встряски при Молодах, ни от прошлогоднего разгрома под Астраханью. Уж так его там побили – забыл думать о Казанском да Астраханском ханствах, за свое Крымское испугался.

Воротились из-под Серпухова все в добром здравии, царь был весел, на охоту с соколами ездил тешиться. И вдруг грянула новая буря.

Послал Иван Васильевич в Новгород за бывшим опричником, новгородским начальником Андреем Старым-Милюковым. Гонцы вернулись ни с чем: Андрей постригся в монахи, живет в скиту.

– Он забыл о Никите Голохвастове! – засмеялся Иван Васильевич. – Помните? Тоже был хитрец, от меня к Богу перебежал. Привезите! Да заодно и высокопреосвященного Леонида, чтоб другой раз лошадей не гонять. Везите их порознь, чтоб не ведали друг о друге.

В день Святого Никиты Халкидонского позвали братьев Шуйских, Василия и Андрея, на службу. Царь ехал в карете вместе с новгородским архиепископом Леонидом. Остановились на Таганском лугу. Царь вышел из кареты, направился к открытому шатру, где поставлены были четыре стула – царю, царевичу Ивану, архиепископу Леониду и бывшему касимовскому хану, родовитейшему среди татарских царевичей, служивших Ивану Васильевичу, – Семиону Бекбулатовичу*. Вдали маячил помост, а на помосте стояла бочка.

Василий и Андрей, как первые оруженосцы царя и царевича, тоже были в шатре. Сюда же позвали Колычевых и князя Федора Хворостинина.

– Собираюсь созвать Земский собор, денег просить на Ливонскую войну. Бояре мои богаты, да скупы для пользы царства, – говорил царь, весело заглядывая в глаза то Леониду, то Семиону Бекбулатовичу.

Василий Иванович обоих видел впервые. Преосвященный был дороден, борода черная с искрами серебра, глаза тоже черные и тоже с искрой. В лице бледность, беспокойство, но и величавость: глядя на такого, без палки признаешь – большой человек!

– Семион Бекбулатович – ныне добрый христианин, – говорил царь, занимая разговором новгородского гостя. – Два года как крестился. Я ему невесту сосватал, богатую, знатную, красавицу Настасью, дочку боярина Ивана Федоровича! Первее у нас и нет – Мстиславская. Ты доволен ли Настасьей, Семен Бекбулатович?

– Премного доволен, великий царь, – закивал внук золотоордынского хана Ахмата.

Голова у Семиона Бекбулатовича была круглая, усы и бородка редкие, как у природного монгола. Хоть и Семион, а все Саин-Булат. Но не страхом – покоем веяло от этого человека... Он все улыбнуться хотел, да узкие глаза из-под толстых век глядели, спрашивая неведомо о чем.

Вдруг в шатер ввели Андрея Старого, в рясе, в скуфейке.

– Благослови, инок! – вскочил на ноги царь. – Во имя кого наречен? Ведь не знаю, не прислал государю сказать... Царю вам мало служить, высоко хватаете!

– Наречен во имя Иоанна Златоуста, – ответил инок.

Царь поднял брови и замер, наигранная суета соскочила с него.

– Резвый ты, братец Иоанн!.. Видишь, какой почет тебе? Царевич, архиепископ, князья Шуйские, бояре Колычевы, князь Хворостинин, ну и мы, грешные, два Ивана... А третий лишний. – Иван Васильевич насупился. – Видишь ту бочку?

– Вижу, – сказал инок, – должно быть, с порохом.

– Угадал.

– Возьми фитиль да и ступай себе. Помнишь Голохвастова? Тоже от меня к Богу сбежал. Теперь среди ангелов. Ну и ты поспеши! Иоанн Златоуст ждет тебя не дождется, окаянного опричника.

– За что, государь, такая мне милость?

– За измену. Вы с архиепископом много шалили. Шведскому королю писали, польскому...

– Да у поляков и короля-то нет!

– Лихой народ – русские. Холоп на холопе, а с царями спорят, как равные. Ступай, или тебе помочь?

Иноку подали фитиль. Он взял его, но тотчас бросил царю под ноги.

– Зачем мне, ни в чем не повинному, самоубийцей идти к Богу на суд? Давай, царь Иван, засучивай рукава! Ты у нас в царстве первый кат. – Упал на колени перед архиепископом: – Благослови, преосвященный.

Инока схватили, уволокли, посадили на бочку. Вернулись к царю.

– Поджигать?

– Жги! А ты, отче Леонид, в небо гляди. Может, усмотришь душу, уж такую тебе разлюбезную?

Повернулся вдруг к братьям Шуйским: Василий Иванович глядел во все глаза на страшное место.

Полыхнуло. Грохнуло. В небо взвился столб огня, черного дыма, летели доски...

И тут все увидели бегущего среди высокой травы прямо на шатер рыжего коростеля.

– Очумел, – сказал Грозный и посмотрел на свиту. – Вот вы у меня люди все мудреные, не очумеете, как вас ни учи! И ведь не развеселишь умников. Не умеете сердцем жить, несчастные люди... А может, все-таки развеселитесь? Поехали, у меня потеха приготовлена.

Поскакали опроретью в Москву, на Арбат, где у царя был выстроен новый двор затрапезный, без теремов, без затей. Посреди двора увидели глухую, высокую, круглую стену. Несколько лесенок вели наверх, на смотровую круговую площадку. Туда и позвали гостей: быть звериной травле.

Для царя Ивана Васильевича и для самых великих лиц при нем имелось три лавки. Царь сидел с царевичем Иваном, с Семионом Бекбулатовичем, с высокопреосвященным Леонидом. Сесть позволено было князю Тулупову, Василию Умному-Колычеву, Василию Ивановичу Шуйскому, князю Хворостинину и неведомо откуда появившемуся английскому гонцу Горсею.

Единственная дверца отворилась, и в пустую башню царские псары ввели не зверей, а монахов. Рясы на всех простые, черные, но по тучности это были не иноки: духовная власть.

Грозный во все глаза смотрел на Леонида. Его это были люди.

Снизу спросили:

– Великий государь, прикажешь всех сразу или по одному?

– По одному, – ответил царь, но так негромко, что псаря не расслышали, и один только Борис Годунов решился выкрикнуть государев приказ.

– С крестом оставить или еще рогатину пожалуешь? – спросил, подумав, начальник над псарями.

– Жалую, – ответил царь.

Псарь понял, поклонился.

Одному из семерых монахов дали рогатину, остальных увели.

Монах левой рукой держал высоко поднятый крест, правой опирался на древко своего ненадежного оружия.

Раздался рев. В открывшуюся на мгновение дверь ввалился черный огромный медведь. Зверь кинулся на стену, но ни забраться на нее, ни сокрушить не мог. И тут он учуял человека, встал на дыбы, пошел на казнимого, взмахивая лапами. И было видно, какие длинные, какие черные у медведя когти.

Английский гонец о той царской потехе так написал в книге «Рассказ, или Воспоминания сэра Джерома Горсея»*: «Медведь учуял монаха по его жирной одежде, он с яростью набросился на него, поймал и раздробил ему голову, разорвал тело, живот, ноги и руки, как кот мышью, растерзал в клочки его платье, пока не дошел до его мяса, крови и костей. Так зверь сожрал монаха, после чего стрельцы застрелили зверя».

– Вот вы как Богу молитесь?! – сверкнул глазами на архиепископа Леонида Грозный царь. – Древних христиан, коли святы были, дикие звери не трогали.

Князь Василий Иванович слышал царя, слышал рев зверей, крики терзаемых, – упаси Бог! – глаза не закрывал, но и не видел ничего, что творилось внизу, в потешной башне.

– Все кончилось! – толкнули его в плечо.

Перед ним стоял Борис Годунов.

Василий Иванович поднялся, пошел вслед за остальными вниз. Оказалось, на смотровой площадке было собрано много монахов.

– Хорошо их поучил великий государь! – сказал Годунов Василию Ивановичу. – Ведь до чего зажирили. Один только и смог насадить медведя на рогатину, да и того сожрали.

Воротившись домой, Василий Иванович плакал, как малое дитя, забившись между сундуками с книгами.

Василиса уж гладила его, гладила, насилу подняла, в постель уложила, согрела телом своим ласковым. И спал князь с вечера до вечера и еще до полудня. Такова она, царская служба.

19

О переезде в Новгород великий государь забыл, и все помалкивали. В Пыточном дворе шли допросы новгородцев. Между царскими людьми прошел слух: архиепископа Леонида оговорила лекарь Бомелей. Бомелей не только лечил царя и его семейство, но и составлял яды, отравил Григория Грязного и целую сотню простых опричников. В народе царского лекаря называли колдуном. Да он и был колдун: привадил к себе царя дьявольской астрологией. Составляя гороскопы, пугал Ивана Васильевича обещанием страшных бед, но умел находить пути спасения, погружая государя ради этого в бездны тьмы.

Теперь Бомелей указал на измену новгородского архиепископа, расшифровал его письма к шведскому королю. Но не измена, может быть, и выдуманная, довела Леонида до Пыточного двора. Новый гороскоп, составленный Бомелеем, предрекал царю скорую гибель от близких к его сердцу людей. Составив же каббалистическую пирамиду, проклятый лекарь указал путь

спасения через новгородскую волхвовицу. Архиепископ Леонид недолго заперся, открыл Ивану Васильевичу: грешен, держит на своем дворе шестнадцать баб-ведуний из северных земель, где ночь по полгода, где самые сильные на Руси знахари.

– На великого, на зело могучего, знать, собирався напускать лютую немочь, иначе зачем столько волхвовиц?

– Грешен, – покаялся архиепископ, – не ради ведовства держал баб при себе, ради их красоты.

– Ну и брешешь! – не поверил Грозный. – Я знаю, каков ты сластолюбец. Не Бога молишь в Софийском великом доме – дьявола тешишь. Бабы тебе на дух не нужны, ибо занимаешься мужеложеством и, говорили мне, даже козочками не брезгуешь.

На дыбе что скажут, то и повторишь себе на погибель. Признался Леонид, есть среди его ведуний – прозорливая, с глазами, как мутная черная пропасть, именем Унай.

За этой волхвовицей послали без промедления.

Между пыточными занятиями не забывал великий государь и о других делах. Собирав полки, чтоб зимою, по крепкой дороге, шли воевать Кольвань и прочие коловерские, опсельские, падцынские места. Не забывал о польской короне, не хотел только денег на нее тратить. Ждал, чтоб пане радные сами к нему с поклоном ехали.

Но привезли волхвовицу Унай, и занялся царь волхвованием, дабы превозмочь силу звезд, отвратить от себя бездну ледяного мрака.

В те дни к Василию Ивановичу брат его, Андрей Иванович, приехал с великим недовольством, и день-то выбрал для упреков самый неподходящий, праздник Петра и Павла, всехвальных верховных апостолов.

– Борис Годунов перестал говорить со мною ласково! – Князь Андрей, как выдра Агия, щерил острые зубы. – Он к тебе и так и этак, а ты от него шарахаешься, будто от чумы.

– Он чума и есть.

– Наградил тебя Бог маленькими глазками, ничего-то они не видят! Годунов нас с тобой желал в приятелях держать, а теперь он не разлей вода с Федькой Нагим, с Богданом Бельским, с боярином Сабуровым. Песенка Тулупова да Умного спета!

– Скажи, Андрей, долго ли князь Тулупов в любимцах ходил? Был рындой с самопалом, да вдруг скакнул в первые. Если ему от ворот поворот, значит, хватило его на полтора года с небольшим. Васька Умной рыщет измену шустрой самого Малюты, и тоже ведь стал не надобен. Не спеши, Андрей Иванович... У нас с тобою лета молодые, может, не зарежут... Ты не в первые лезь, а смотри, что и как надо делать, чтоб, когда время придет, усидеть в первых.

– Борис Федорович Годунов...

– Я только и слышу от тебя – Годунов! Годунов! Да кто он таков, чтоб его имя поминалось под кровлей Шуйских? Кто?! Татарва захудалая.

– Годуновы ведут счет от мурзы Чёта. Он хоть и золотоордынец, но служил Ивану Даниловичу Калите.

– А наш с тобой счет – от Рюрика! Он у царевича с копьем, а ты с большим саадаком! Ибо ты – Шуйский, а он – Годунов, выскочка. Палач и шут! Борис Годунов тебе одногодок, но он обойдет и меня и тебя.

Василий Иванович взял брата за руку, подвел к иконам.

– Молись, Андрей! Молись, благодари Бога, что мы живы, здоровы, не в Пыточном дворе – огнем нас не жгут, мы никого не терзаем. Молись! На коленях! – И сам стал на колени. – Попросим родителей наших, чтоб вымолили у Господа для нас благословения, тишины, доброй жизни.

Андрей Иванович помолился, но было видно – не согласен он со старшим, с боязливым братцем.

Обнимаясь на прощание, Василий Иванович сказал:

– Тише едешь – дальше будешь. Брат мой, сия наука от людей мудрых. Я вижу все прекрасные достоинства твои, столь необходимые для служения великому и несчастному нашему царству. Сохрани же свои сокровища до лучшего времени. Не бойся, золото не вянет, не покрывается ржавчиной, не иссыкает. Бога ради, побереги золото разума твоего, побереги себя, милый, родной.

Андрей Иванович был тронут проникновенными словами, призадумался, уехал от старшего брата умиротворенным.

И на другой день – вот уж судьба! – очутился в Пыточном дворе.

Великий государь вдруг вспомнил: Новгород – вотчина царевича Ивана, царевич – великий князь Новгородский, ему и выводить измену в своей земле.

Как пожар с крыши на крышу – обожгло Москву слухом: лютый волхв Елисей – царев-лекарь – бежал!

Ои и впрямь бежал.

На дыбу были подняты слуги Бомелея, но выбил из них царевич только то, о чем все знали. Потек лекарь Елисей прочь от Русской земли, а уж к немцам ли, к полякам – это как он сам исхитрится. Забрал все золото, зашил в старый зипун – да и был таков. А ведь сие золото мог бы и не спасать, ибо щедростью царя имел свои корабли и большую торговлю в Европе, приторговывал в Новгороде, во Пскове. Во Пскове и попался.

В день заговенья на Успенский пост привезли Элизиуса Бомелнуса, жителя Вестфалии, получившего образование в Кембридже, в Москву.

Пытать отдали царевичу.

Батюшка-царь над архиепископом Леонидом трудился. Пастырь новгородский, угодник Грозного во всех его богопротивных делах, сознался: писал шведскому королю, писал польскому королю, по-гречески, по-латыни, посылал письма тремя разными дорогами...

Лютый же волхв Бомелей, оговоривший Леонида в измене, признался совсем в другом: никаких писем к королям не писали, поклепал и архиепископа со зла.

Первые пытки Бомелей выдюжил, надеялся на своих доброхотов, которые кинулись царевичу в ноги и не только просили милости к несчастному, но и хорошо заплатили за избавление царского лекаря от мучительных пыток огнем.

Как знать, может, и получил бы «лютый волхв» облегчение, да пожаловал в башню поглядеть, как сын управляется с изменником, презревшим многие царские милости, – сам Иван Васильевич. Попал Бомелей на вертел. Поджарили, пуская из жил кровь, чтоб на нем, злодее, кипела.

Оговорил лекарь всех, кого только царь ни назвал.

– Хотел я тебя живьем зажарить, – признался лекарю Грозный, – да ты спас меня от злого умысла ближних моих людей. Спасу и я тебя.

Отнесли Бомелея, едва дышащего, в темницу, и гнил он заживо еще четыре года.

Поверил ли признаниям своего лекаря и астролога царь Иван Васильевич, нет ли, но он признаниям этим обрадовался.

Второго августа, в день памяти блаженного Василия Христа ради юродивого, московского чудотворца, на площади перед двором боярина Мстиславского, у Пречистой, перед храмом Ивана Святого был возведен помост, поставлена плаха, и начались казни. Отсекли голову Василию Умному-Колычеву, Федору Старому-Милюкову, братьям князя Бориса Тулупова – Андрею и Никите, братьям Мансуровым... Всего скатилось сорок голов.

Сорок первым казнили князя Бориса Давыдовича Тулупова, наитайнейшего советника царя. Для него на площади стоял острый, как игла, кол.

Василий Иванович был в толпе придворных, в первом ряду, как и полагается по старшинству его древнего рода.

На земле лежали неубранные головы, когда со стороны Пыточного двора показался малый гуляй-город – деревянная, узкая, как колодец, башня. На этой башне и привезли князя Бориса Давыдовича. Дьяк прочитал лист о его изменах, князь начал было креститься на кремлевские церкви, но его потащили, насадили на кол, и он даже не крикнул, поверженный болью в беспамятство.

– На колу по три дня бывают живы, – услышал князь Василий голос стоявшего позади Годунова.

Этот всё знал.

Толпа шевельнулась, готовая разойтись, но царские охранники, оцеплявшие площадь, не пустили. Представление продолжалось.

Привели к колу княгиню Анну, матушку князя Бориса Давыдовича. Мученику сунули на пике в лицо какое-то снадобье. Князь очнулся, что-то залепетал, но княгиня-мать не упала, не вскрикнула, но благословила сына крестным знамением, прижалась головою к колу, и тотчас отошла. Смотрела, любя жизнь, оставшуюся в дитяти. Гордо стояла. Ей подкатали под ноги одну из голов. Она подняла эту голову и поцеловала.

Грозный иног ждал от женщины. Заскрежетал зубами – и в аду этак не умеют. Услышали тот скрежет многие и обмерли. Иван Васильевич крикнул слугам высоким голосом птичье, невразумительное, но слуги смекнули, что им велено делать.

Почтенную женщину повалили, разодрали на ней одежды, оттащили за куст, так, чтоб сверху было видно. Насиловали толпой, ножами пыряли. Тело княгини бросили к столбу, перед глазами медленно умирающего сына. Тулупов промучился пятнадцать часов, видел, как пожирали собаки родившую его...

Вернулся со службы Василий Иванович, Василиса и брякнула в смятенье:

– Господи! У тебя морщины под глазами. И на лбу!

– Послал бы меня государь на войну! Или воеводой! Хоть в Тьмутаракань...

И замолчал. Подали обед, ел. Ел, сам себе ужасаясь. А когда принесли клюквенный красный кисель – оттолкнул:

– Кровь!

– Кисель, – возразил стольник. – Кисленький, сладенький.

Князь смирился, похлебал киселю, кликнул меньших братьев своих и до ночи играл с ними в тавлеи*. Головы им сам чесал частым гребешком, у Ивана Пуговки вошку нашел. Оставил братьев почивать в своей спальне, а на сон грядущий бахарь сказки им говорил, пока все трое не заснули.

20

На четвертый день после казни злых изменников царь Иван Васильевич повелел отвезти жену свою Анну, дальнюю, но родственницу Васьки Умного-Колычева, в монастырь. В недалекий, в неблизкий, ничем не знаменитый, где стариц немного и куда из дальних краев не хаживают.

Везли невенчанную царицу в крытом возке, да только крыт был тот возок рогожей, чтоб народ не сбегался на погляд. Пятеро детей боярских, одетые в простое платье, скакали позади, как бы сами по себе. С царицей же сидели служанка да князь Василий Иванович, да Бориска Годунов.

На свадьбе царица была под фатой, Василий Иванович, несильный глазами, всего и разглядел, что хороша, а сколь хороша, он только теперь ощутил.

Сидел насупротив, глядеть мог не таясь, безопасно. Да на ангелов прямо смотреть невозможно, а коли ангела с неба бросили, чтоб крылья расшиб, чтоб красота небесная померкла, то и сам глаза не поднимешь, ибо стыдлив человек. Стыд – падение пред Богом. Но вот в чем

тайна! Неведомо, в каком сосуде помещается стыд, в теле или в душе? Стыд низверг человека из рая, это верно, стыд разнит человека с ангельским чином, но ведь и со зверем тоже. Стыд погубил, но стыд и к Богу привел.

Веселый да легкий Годунов долгого молчанья не стерпел и сказал:

– Дорога у нас неблизкая. Коли будем немые, язык без дела усохнет, попробуй разговори его потом.

Царица Анна подняла на Бориса глаза, и в них была благодарность.

– Давайте сказки, что ли, сказывать?

– Мы, чай, не бахари, – буркнула служанка.

– А зачем нам бахари? Без бахарей управимся. Чур я первый, – подмигнул служанке и начал: – Пошла девка белье полоскать. Мать ждет-пождет – нет дочери! Побежала на речку, слава богу, жива, сидит, пригорюнившись. «Ты чо?» – спрашивает матушка. «Да ничо! Ни скотины у нас, ни хлеба, ни денег. Вот и думаю, как же мне замуж выйти?» Объяла матушку кручина, села возле дочери. Сидят. Тут и старик спохватился: ни жены, ни дочери. Приходит на речку. «Вы чо?» – «Да ничо! Садись с нами, думай, как девке замуж выйти». Старик тоже закручинился. Вот сын старика ждал-пождал семейство, не дождался, на речку побежал. «Чо сидите?» – «Думаем, как Марью замуж выдать. Садись и ты думай!» – «Дураки вы, дураки! – рассердился сын. – Жить с вами, дураками, больше мочи моей нет. Пойду от вас прочь. Коли сыщу дурее вас – ворочусь, а нет – не поминайте лихом!»

Не больно далеко и отошел от своей деревеньки. Увидел в селе мужика с коровой. Ходит вокруг церкви, ходит. Сын старика удивился, спрашивает: «Ты чо?» – «Да чо! – отвечает мужик. – Отец мой помер, а корову отказал на церковь. Хожу я, хожу, а лестницы не видно».

«Ну, дядя, ты моих дурее!» – решил парень и домой побежал, как бы его дураки беды не натворили...

Царица улыбнулась, но тотчас и поморщилась. Кучера погоняли лошадей, на дорогу не глядя... Кибитку на рытвинах подкидывало, что-то все время позвякивало.

– Я им! – Годунов распахнул дверцу, крикнул кучерам словцо уж такое крепкое, что чуть не шагом поехали.

– А ты, Василий Иванович, сказки знаешь? – спросил Годунов.

– Нет, – ответил князь. – Я сказки слушать люблю.

– Сказка для родовитого человека – забава низкая. «Эт гаудиум эт солициум ин литтерис».

– Чужого языка не ведаю, Борис Федорович.

– Так и я не ведаю, – засмеялся Годунов, – для иноземцев выучил, чтоб нос не задирали.

– А что же ты сказал? – спросила служанка.

– То ученая латынь, а сказал я: «И радость и утешение в науке».

– А еще умеешь?

– Умею. «Эт фáбуля партам вари хабэт» – «И сказка не лишена правды».

– Верно! – сказала вдруг царица Анна.

Голос у нее был глубокий, грудной, но в груди клокотали невыплаканные, затаенные на смерть слезы.

– Не изволишь ли, государыня, что-либо сама рассказать? – спросил Годунов.

– Отчего не рассказать?.. Пока мы в дороге, я все еще в миру. Дальше всему живому во мне будет смерть.

– В монастырях тоже люди! – сказала служанка. – Иные живут не худо. Еще и радуются.

– Господи! Прогневил я Тебя, Господи! Послал бы забеременеть, государь ради потомства своего не казнил бы меня – отрешением от мира.

– А ты знаешь, кем себя царь Иван Васильевич величать любит? – спросил Годунов.

– Не ведаю, – сказала Анна, подумав. – В монашескую рясу охотник рядиться.

– Да нет, монашеская ряса для Александровской слободы... Кронусом величает себя Иван Васильевич.

– Кронусом?

– Язычники-греки сему богу поклонялись.

– Но почему Иоанн Васильевич равняет себя с идолищем? – В лице царицы явились тревога и недоверие.

– Кронусу было предсказано, – ответил Годунов, доставая горсть семечек, – дескать, с престола свергнет его родной сын. Кронус и давай всех своих деток – а их ему рожали изобильно – в рот пихать.

– Ел, что ли? – удивилась царица.

– Пожирал.

– При чем тут Иван Васильевич? – Анна в ужасе задохнулась. – Не клеветщи! Или погибели нам, несчастным изгнанницам, ищешь?

– Я не клеветшу, – пожал плечами Годунов, отсыпая семечек служанке. – Государь про Кронуса много раз сказывал. Наложниц у Ивана Васильевича перебивало не меньше, чем у Соломона. И всех детей, дабы не вышло потом смуты, приказано умерщвлять. Так что благодари Бога за свое неплодство. Твое дитя тоже бы убили, ты невенчанная.

Царица побледнела, закрыла глаза.

– Будешь? – Годунов предложил семечек Василию Ивановичу.

Тот убрал руки с колен.

– А я люблю пощелкать.

– Вы хотели сказок, так мою послушайте, – сказала царица, не открывая глаз, и бледность ее сделалась еще белее. – Некий человек, юноша, удалой воин, наехал в чистом поле на свою смерть. Вид ее был страшен, у нее были меч, коса, серп, ножи, пилы, топоры. Всякое, что пригодно для злодейства.

Юноша испугался, но сказал:

– Не боюсь тебя, грозного твоего вида, жестоких твоих орудий!

– Как так? – удивилась смерть. – Меня боится все живое. Передо мной трепещут цари, воеводы, священники.

– Пошла прочь! – сказал юноша. – А будешь передо мной вертеться – рассеку тебя моим мечом. Пошла! В тебе нет никакой удали, один страх.

Смерть так ответила храбрецу:

– Я не сильна, не хороша, не пригожа, но от Адама и до сегодняшнего дня не было удалыца, который бы осмелился сразиться со мною. Самсон был тысячекратно тебя сильнее, желал иметь кольцо в земле, чтоб весь белый свет поворотить, но покорился мне. Александр Македонский был царем всему подсолнечному миру, а я взяла его, как беру одиноких, убогих. Царь Давид – среди пророков пророк, но и тот не спасся, не спаслись от меня мудростью царь Соломон и Акир Премудрый.

Много плакал юноша, просил отпустить его хоть на день, хоть на единый час. Нет, не пощадила.

И крикнул он ей, погибая:

– О немилосердная злодейка!

Подсекла его косою смерть, раздробила ему жестокими орудиями все косточки, все жилочки. Но, отлетая на небо, поглядел юноша на тело свое, и показалось оно ему, столь прежде любимое, – падалью.

Царица умолкла.

– Я читал эту повесть, – сказал Василий Иванович.

– Никогда! Никогда не отрешусь я от моего, данного мне Господом тела, от моего образа, от любви, пребывающей в душе моей! – Царица говорила, сверкая глазами на Годунова, надеясь: передаст наушник царский своему господину.

Годунов хмыкнул, высыпал из ладони семечки на голову служанке и вдруг схватил ее за бедра:

– А ведь это в тебе брякает да звенит.

Задрал юбку, запустил обе руки между ногами, снял со своего пояса нож и, хохоча, срезал увесистый кожаный мешочек, набитый деньгами.

– Ишь где пристроила!

Поглядел наглыми глазами на царицу. Сделал к ней движение, а может, это только так показалось Василию Ивановичу.

– Не смей! – крикнул князь, хватаясь за кинжал. – Не прикасайся к государыне!

Годунов изумился, но не злоба – почтительность появилась в его взгляде.

– Ладно, – сказал он, взвешивая на руке мешочек. – Не пустые к Богу собрались.

Ухмыльнулся, поглядел вопросительно на Василия Ивановича и кинул мешочек служанке.

– А я еще сказочку знаю! Жил-был скряга. Услышал: смерть стучит. Открыл скорей сундук, давай золото глотать. Тут смерть в избу и вошла. Стали скрягу отпевать. Читает ночью дьяк псалтырь, вдруг нечистый явился в человеческом образе. Говорит: давай трусить старика. Золото, дьячок, тебе, а мешок мой.

Годунов хохотнул, погрозил пальцем служанке.

– Помни сказочку! Смотри не обижай царицу. Сбежишь с деньжонками, под землей найду.

Все перевернул! Получилось, что о царице пекся. Тут уж Василий Иванович поглядел на Бориса Федоровича, и тоже почтительно.

Обратно скакали верхами, говорили при боярских детях не много.

В Москве же, прощаясь, Годунов шепнул князю:

– Красивая была Анна Васильчикова! До чего же короткая любовь у нашего царя! Короче заячьего хвоста!

Подождал, что Шуйский скажет, да Шуйский промолчал, как всегда.

21

Целую неделю площадь перед двором князя Мстиславского оставалась пугалом для всей Москвы. Если кого и утешили новые казни, так одних только пострадавших от злодеяний Васьки Умного, сыскной собаки царя, от происков князей Тулуповых...

Казнил Иван Васильевич своих, остатки опричнины. Но много чужой беде не нарадуешься – род князей Тулуповых-Стародубских был вырублен с корнем. Поместья князя Бориса Давыдовича царь пожаловал бедному своему родственнику, брату царевны Ирины, – Борису Годунову.

И вдруг головы собрали, останки погребли, площадь вымыли, вымели. Царь собрал не просто Думу, но Земский собор. На первом заседании объявил, что собирается взять у монастырей и церквей все их сокровища, ибо не на что воевать. Окончательная победа в Ливонской войне близка, нужны последние усилия, иначе все прежние затраты, пролитая кровь пойдут прахом.

Царю возразил архимандрит Симоновского монастыря Иосиф. Казна монастырей состоит из вкладов многих поколений всего русского народа. Часть этих вкладов можно отдать, но если великий государь возьмет все, он оставит в нищенстве не только храмы и монастыри, а саму Русь.

Иван Васильевич, выслушав Иосифа, снял с головы венец и, поднявшись с трона, положил венец на стол, рядом с другими венцами многих своих уделов и царств.

– Мне прискучило быть государем над столь злокозненными подданными, – сказал Грозный, лицо его посветлело, он словно ношу с себя скинул. – Только и жди измены, а иные готовы покуситься на саму жизнь Божьего помазанника. Всякому моему слову противятся, на всякое царское дело ропщут. С отроческих, с нежных лет всякий день мой отравлен дуростями, упрямством, воровством великих людей и низких. Довольно с меня! Поцарствовал. Вот мой сказ священству и всем земским людям. Оставляю за собой и за царевичем Иваном Ивановичем единственную корону великого князя Московского, остальное пусть возьмет себе Семион Бекбулатович. Он внук хана Золотой Орды, мудрого Ахмата, который при деде нашем, великом государе Иване III Васильевиче, владел всею Русской землей. Любите и жалуйте, судите и рядите, а я – на покой. Пошли, Иван Иванович.

Земский собор, еще далеко неполный, – не все приехали из далеких городов, из лесных, за горами и реками, обителей, – погрузился в изумление и ужас от новой царской игры, ибо никто не поверил Ивану Васильевичу.

Собор молчал, и странно было слышать топотанье ног уходящих и резкий постук царского костяного посоха.

Князь Василий Иванович, будучи царским оруженосцем, уходил вместе с людьми царя. Иван Васильевич сказал свое слово с такой горечью, с такой усталостью в голосе, что князь не только не посмел усумниться в истинности сказанного, но и растерялся: что же теперь будет?

А вышло так, как и задумал изощренный в коварстве внук византийской принцессы Софьи Палеолог.

Пока бояре и дворяне судили да рядили, а митрополит Антоний увещевал архиереев и священство не мешаться в мирские дела, Иван Васильевич, с малыми пожитками, выехал из Кремля и устраивался на Арбатском дворе. Все кареты были оставлены новому великому князю, и ездил Иван Васильевич теперь в телеге. Не на бархате, как бывало, а словно простой смертный, на охапке сена.

Народ дивился, мудрые Богу молились.

Наконец, собравшись с духом, бояре и дворяне, часть священников во главе с протопопом Архангельского собора Иваном подали Ивану Васильевичу несколько сословных челобитий и грамоту от всего Собора. Много было там слов, но разъярило царя сказанное не в бровь, а в глаз: «Не подобает, государь, тебе мимо своих чад иноплеменника на государство поставляти». Грозный услышал от Земства то, чего и в Пыточном дворе не мог выколотить: народ чаял видеть на престоле не отца, а сына! Не Ивана Васильевича – Ивана Ивановича.

И ударили колокола московских церквей. Был тот звон праздничный, а начало ему подал колокол соборного кремлевского храма Успения Богородицы.

– Что за Пасха по осени? – удивлялись люди малосведущие.

– Царя на царство венчают!

– Неужто Иван Васильевич помер?

– Помилуй Бог! Иван Васильевич жив-здоров, а на царство венчают Семиона Бекбулатовича.

– Татарина?!

– Татарина.

– Так мы теперь татаре будем?

На это сведущие люди вразумительного ответа дать не умели.

– На все Божья воля!

Торжество в Кремле совершалось нешуточное.

По красному бархату провели Семиона Бекбулатовича от царского дворца до Успенского собора с великим почетом. Впереди несли Животворящий Крест, с частью Древа от Кре-

ста Иисуса Христа. Сей Крест был прислан вместе с царскою шапкою и прочими регалиями василевса Византии Константина Мономаха для венчания на великокняжеский киевский стол князя Владимира Всеволодовича. Регалии те: золотая цепь, бармы да сердоликовая чаша римского кесаря Августа. Константин Мономах был дедом Владимира Всеволодовича по матери. Возложив на себя регалии багрянородных правителей Византии, венчавшись царьградским венцом, князь Владимир Всеволодович был наречен Мономахом, ибо соединился с багрянородными многими узами: кровью, фамилией, таинством венчания, царскою шапкою, Животворящим Крестом, порфирой и возложением на плечи и на грудь символов царской власти.

Государь Иван Васильевич венчал Семиона Бекбулатовича вместе с митрополитом Антонием.

Вот так же хлопотал лет семьдесят тому назад великий государь Иоанн III Васильевич Грозный. (Из Грозных он был первым.) Внука своего, Дмитрия, на царство венчал. Рассердился на царицу Софью, принцессу византийскую, на сына Василия опалу наложил... Из-за этого венчания бедный князь Дмитрий всю жизнь просидел в тюрьме.

Всегда и во всем покорный митрополит Антоний новой затее не противился. Совершил венчание по древнему византийскому правилу. Семиона Бекбулатовича обрядили в соборе в царские ризы, возложили на плечи бармы, надели на грудь золотую цепь, увенчали голову шапкою Мономаха, помазали миром – и царь готов.

Антоний сказал новому государю наставление, Иван Васильевич и сын его Иван Иванович поклонились венчанному на царство, ибо сами были теперь князья удельные, а Семион Бекбулатович – царь и великий князь всея Русин.

Три старших брата Шуйских: Василий, Андрей и Дмитрий – были на том венчании.

– Кому же теперь станем служить? – шепнул Андрей Василию.

И глянул Василий на Андрея, да так, что тот онемел.

Когда же ехали с царского пира домой, обнял младших братьев и пошептал каждому на ухо:

– Слава Всевышнему! Иван Васильевич не отставил нас от себя! Поеду завтра в Троице-Сергиев монастырь, помолюсь за всех нас.

В монастыре узнал: архимандрит Симоновского монастыря Иосиф сложил с себя сан, остался в обители простым иноком.

Увы! Увы! Не спасло смирение монаха. Отпраздновав восшествие на престол Семиона Бекбулатовича, Грозный казнил Иосифа.

22

А Земский собор продолжал свои труды, хотя и почитал себя заложником царского коварства. Отречение Иоанна Грозного от верховной власти – морока. В Казани и Астрахани о том отречении не только писать, но и говорить запрещалось, говорунам языки резали.

Но Семион-то Бекбулатович – явь! В драгоценной царской порфире, с венцом великого князя всея Руси, восседал он на троне, слушая приговоры Боярской думы.

Все знали: игра! Новая опричнина! А все же были и такие, кто забывался, глядел на Семиона Бекбулатовича с надеждой: чем не царь? Величав, ласков, никому злого не желает.

Пока Земство мыкало свою новую печаль, московский князь времени даром не терял, делил царство надвое, как в опричнину. Себе взял Псков, Ростов Великий, Зубец, Ржев, Шелонскую пятину Новгородской земли, Казань и многие другие земли. Царю Семиону Бекбулатовичу отошли Владимир, Муром, Мценск.

В Думу Иван Васильевич с сыном своим, Иваном Ивановичем, являлся не иначе, как в свите митрополита Антония, сидел в задних рядах. Да вот только в «удел», на свою службу Иван Васильевич мог взять любого дворянина великого князя, а великому князю Семиону

Бекбулатовичу принимать из «удела» было настрого запрещено. Правду сказать, перешедший к Грозному терял свои поместья на земле царя Семиона, но получал от Ивана Васильевича новые в землях удела.

Братьям Шуйским, Василию и Андрею, тоже были пожалованы угодья в Шелонской пятине.

Пришла осень, пошли дожди, полились обильно новые людские слезы.

Разобравшись с уделом, Иван Васильевич устроил Удельную Думу. Сыск поручил постельничему Дмитрию Ивановичу Годунову, заодно пожаловал чином боярина. Стал боярином Афанасий Нагой, а брат его Федор – окольничим.

Власть для того и власть, чтобы властвовать.

Как молнией, поразило гневом Грозного близких людей царевича Ивана. Скатилась с плеч голова его троюродного брата – Протасия Васильевича Юрьева-Захарьева. Бомелей назвал, а Грозный вспомнил. Возвратили из десятилетней казанской ссылки боярина князя Петра Куракина – и сразу на плаху. Расправился Иван Васильевич и с бывшими опричниками. Отрубили голову князю Даниле Друцкому, проредили род Бутурлиных. За усердную службу казнили боярина Ивана Бутурлина, его братьев – окольничих Дмитрия и Бориса. Иону Бутурлина зарезали дома, вместе с сыном и с дочерью.

Посылал своих псарей удельный московский князь и в приказы. За приказным столом задушили дьяка Иосифа Ильина, трех подьячих, прибили пятерых крестьян-просителей, чтоб страстей потом не рассказывали.

Из Архангельского собора, не дождавшись конца службы, выхватили соборного протопопа Ивана – хранителя царских гробов. Пролить кровь священника постыдились – утопили.

Кончилось наконец разбирательство дела архиепископа Новгородского Леонида. Зашили беднягу в медвежью шкуру, пустили двух-трех собак, и тут Иван Васильевич помиловал архипастыря. Посадили в яму на хлеб и воду. После дыбы, после кнута, прижиганий архиепископ Леонид недолго был тюремным сидельцем. Умер 20 октября.

Насытившись пролитой кровью, удельный князь тишал.

Было заведено два сыскных дела – на крутицкого владыку Тарасия и на владыку Антония. Доносчики обоих обвиняли в неблагочестии. Дело Тарасия тянулось уже целый год... Но удельный князь, слушая новые доносы на иерархов, помалкивал.

И вдруг слетел, как орел с гнезда, напал на птицу великую, на гнездовье богатейшее. Федец Нагой с двумя сотнями царских слуг наехали ночью на двор боярина, родного брата покойной царицы Анастасии, на дядю Ивана Ивановича, почтеннейшего, Богом береженного Никиту Романовича Юрьева-Захарьина. Подчистую ограбили. Вывезли из дома, из кладовых, из погребов все, что там было, даже лошадей увели.

Об этой изумившей Москву истории англичанин Горсей так напишет: «На следующий день (после грабежа. – В. Б.) Никита Романович послал к нам на Английское подворье, чтобы дали ему низкосортной шерсти сшить одежду, чтобы прикрыть наготу свою и своих детей, а также просить у нас какую-нибудь помощь».

Впрочем, уже зимою, через полтора месяца после ограбления, Никита Романович был послан вести переговоры с немцами.

Но то через полтора месяца, а через несколько дней орава Грозного ограбила дьяка Посольского приказа Андрея Щелканова. Семен Нагой бил дьяка по пяткам и выколотил пять тысяч рублей, хорошо припрятанных.

Грабить понравилось. Послал Иван Васильевич уже тысячу стрельцов в слободу, где поселил вывезенных из Нарвы, из Дерпта купцов и дворян. Нагрянули на спящих, врасплох. Все дома были разграблены, все женщины, молодые и пожилые, изнасилованы, юные и прекрасные увезены в удел – для удельного князя, для его сановников.

Воротившийся с богомолья Василий Иванович Шуйский застал своего господина, московского князя, за разбором чудесных вещичек, добытых у Щелканова, у Никиты Романовича, в слободе иноземцев.

Иван Васильевич, как дитя, радовался своим новым богатствам, но Шуйскому погрозил пальцем:

– Ты смотри, этак не разбойничай. Это мне можно, великому грешнику. Новый двор Арбатский, сам видишь, беден, так это все на обзаведенье. Ну, чего закручинился? Я тебя люблю.

Взял из кучи рыбку из янтаря, с рубиновыми глазами.

– Дарю! Дорогая штучка, диковинная! – И стал строгим, серьезным. – Они мне денег на войну не дают. Так я вот сам взял. Я им нехорош. Так пусть отправляется разлюбезный их царь в Ливонию. Поглядим, как управятся без меня... Молчи про это! Сие есть тайна!

Игра продолжалась. Московского удельного князя позвали в Думу вместе с сыном, и разрядный дьяк Василий Щелканов от царя Семиона Бекбулатовича сказал им службу: быть на берегу. Иван Васильевич с Иваном Ивановичем выслушали указ стоя, ударили челом: «Государю великому князю Семиону Бекбулатовичу вся Руси. Бьют челом князь Иван Васильевич Московский и сын мой князь Иван Иванович: сказана нам твоя государева служба на берег, и тебе бы нас пожаловать на подъем, как тебе Бог известит».

И Бог известил Семиона Бекбулатовича дать просителям на подъем сорок тысяч рублей. Деньги по тем временам огромные. На всю свою опричнину Грозный некогда потребовал от Земства сто тысяч, а тут сорок на поход не дальше Калуги.

Любил Иван Васильевич деньги.

Он и Земский-то собор затеял ради побора с монастырей. Монастырей было две сотни, на пропитание архимандриты тратили по рублю, по три, но каждый из них обязан был дать Ивану Васильевичу подарок не меньше семидесяти рублей, а больше – так пожалуйста.

Показав Земству, как он, князь Московский, чтит нового царя, Иван Васильевич отправил Семиона Бекбулатовича на Ливонскую войну.

В Разрядной книге о том записано: «Того же лета (7083-го. – В. Б.) посылал государь царь и великий князь под Пернов царя Семиона Бекбулатовича да царевича Михаила Кайбулатовича и бояр и воевод. И Пернов взяли».

23

На каком камушке посидеть, чтоб стало видно, как течет, утекает не речка чистая – время быстрое. Не песчинки перекатывает – судьбы человеческие.

Читаем в Разрядной книге: «Лета 7084-го (1576 год. – В. Б.) поход государя царя и великого князя Ивана Васильевича вся Руси и сына его царевича князя Ивана Ивановича на берег против крымского хана Девлет-Кирея. А стоял государь царь и великий князь Иван Васильевич вся Руси и сын его царевич Иван Иванович со всеми людьми в Калуге».

Разрядный дьяк про удельного московского князя не поминает, хотя Семион Бекбулатович все еще на царстве.

Среди людей, окружающих Грозного царя, много новых.

Дворовый воевода боярин князь Федор Трубецкой, в товарищах у него старший из Нагих – Афанасий.

В Разряд записано: «А с государем бояре: боярин князь Иван Петрович Шуйский».

И все.

Ближайшая охрана: Богдан Бельский, Михайло Безнин, Деменеша Черемисинов, Баим Воейков, Игнатий Татищев, Василий Зюзин.

Много татарских имен. Среди дьяков: Андрей Шерefeldинов, Улан Айгустов, Ерш Михайлов.

За шатрами приказано смотреть Гневошу Извекову.

А вот имена тех, кто спал у государя в изголовье, охраняя сон и жизнь: князь Василий Федорович Скопин-Шуйский; князь Василий да князь Андрей Ивановичи Шуйские, Верига Бельский, Григорий Бельский, Иван Бобрищев-Пушкин. Последний был царским сокольничим.

О крымском хане вестей не приходило. Повеселевший Иван Васильевич решил позабавить себя соколиной охотой.

Взял кроме сокольников сотню стрельцов да сотню из своего дворового чина.

Богдан Бельский высказал государю сомнение:

– Не мало ли людей для твоего царского величества?

– Если бы венец не отягощал мою бедную голову, – усмехнулся Грозный, – никого бы не позвал. Сладость охоты: самому искать, самому добыть. С вами, горластыми, даже лесных птичек не слушаешь, зверь прочь бежит, как от чумы.

Поехали в пойму, где были старицы*, а в старицах – утки, гуси, лебеди.

Первым пустили белого как снег кречета. Его с Печоры привезли.

Радуюсь свободе, небу, солнцу, кречет круг за кругом взмывал с высоты на высоту, изумляя даже сокольников.

– Да где он? – волновался Иван Васильевич. – Шуйский, где он?

Василий Иванович раз-другой указал, а потом потерял его из виду: глаза слезой залило.

– Э-э! – махнул рукой на князя государь. – Где тебе углядеть! Глазки-то, как таракашки.

Пушкин! Показывай!

– Падает, государь!

– Вижу! – закричал в восторге Иван Васильевич.

На кого напал кречет, понять было невозможно, но от птицы только пух полетел. А кречет не пожелал снизойти со своих высот, снова сделал с дюжину ставок и вдруг пал с неба, заразил у самой воды изумрудного селезня.

Пускали потом челигов*, декомытов, но более всех запомнился лет и удар печорского бойца.

– Птицы у меня – охотники на загляденье, – сказал Иван Васильевич свите, – а вот много ли вы стоите?

Пустили голубей. Придворные принялись в очередь пускать стрелы. Многие мазали, но иные попадали. Превзошел же всех Богдан Бельский*: три стрелы – три птицы.

– Голуби как куры, – сказал Грозный. – И велики, и летают, подставляясь стреле. Ну-ка, добудьте малую, быструю птаху. Вон как трясогузки пырхают!

Гневош Извеков попал в трясогузку с четвертой стрелы, Татищев с третьей.

– Ну а ты, герой? – обратился Иван Васильевич к Бельскому и глянул на Шуйского. – Князь Василий, ты же у меня хранитель большого саадака, лучник из лучников, что же ты-то не стреляешь, не веселишь меня?

Все воззрились на Василия Ивановича с усмешечками: первый лучник выглядел подслеповатым.

– Изволь, великий государь, – сказал Шуйский, принимая от Баима Воейкова лук и стрелу.

Тут крикнул Бельский:

– Государь, на твое и мое счастье! – Тетива фыркнула, перышки на стреле свистнули, и птичка, летевшая высоко и быстро, остановилась в небе. И когда она остановилась, пронзенная стрелой Бельского, ее вдруг подбросило еще раз, и на землю она принесла две стрелы.

Все удивились и наконец догадались поглядеть на князя Шуйского.

– Ты стрелял?! – изумился Иван Васильевич. Князь показал, что лук у него без стрелы. – А еще можешь?

– Баим, дай две стрелы! – попросил Василий Иванович.

Зрители затаились, ожидая птички.

– Летит! – крикнул Грозный.

Посвист, еще посвист, и вот уже птица на земле, убитая дважды.

– Вот кто у меня большой саадак носит! – зыркнул глазами Иван Васильевич на насмешников. – Тебе и полк не грех пожаловать, князь Шуйский.

На радостях, что охота удалась, государь устроил веселый пир. Поднес на пиру серебряную чару сокольничему Бобрищеву-Пушкину за белого дивного кречета. Богдан Бельский, который смотрел за царским шеломом, получил в дар серебряный кубок, а князь Василий Иванович Шуйский – кубок из оникса, оправленный в позлащенное серебро.

Вдруг прискакал Борис Годунов из Москвы. Царь поманил его к себе, посадил рядом, и Борис нашептал царю некое известие.

– Экая новость! – сказал Грозный громко. – Кознями турецкого султана польскую корону напялил на себя семиградский князек Степка Баторий*. Заодно и королеву Анну ему присовокупили. Что Бог ни делает – к лучшему. А ну, гуляй!

Иван Васильевич, пригублявший вино, принялся опрокидывать кубки, показывая пирующим сухое дно.

Был и пляс, где всяк норовил потешить государя. Кто колесом ходил, кто лягушкой скакал... На исходе дня утомились наконец, а Иван Васильевич совсем захмелел, лег в уголку и заснул.

Тотчас и пир закончился. Лишние люди убрались, свои глядели на великого государя жалеючи.

– Никогда Иван Васильевич не спянялся! – дивился Богдан Бельский, становясь на колени перед государем. – Господи, не дай ему постареть! Возьми от меня мою молодость, ему отдай!

Заплакал.

– Вино любого молодца с ног собьет! – недовольно сказал Годунов. – Государь сильнее любого из нас... Чем слезы лить, приготовьте доброго похмеля, чтоб поутру голова у Ивана Васильевича не трещала.

– Надо простокваши великому государю принести, – посоветовал постельник Тимофей Хлопов. – Государь проснется ночью, попьет, а утром будет здоров.

– Вон сколько сединок-то! – не унимался Богдан Бельский. – Я русский, а ты, Борис, чернявая голова, мог бы свою черноту сменять на государево серебро.

– Отступи от государя! – сказал сердито Годунов. – Поди проспись. Государю воздух надобен.

Иван Васильевич вдруг открыл глаза, посмотрел на слуг своих ясно и серьезно.

– Какие вы славные ребята! Нет вас ближе!

И заснул.

Все оцепенели. И уже не больно-то верили крепкому царскому сну, прикусили языки.

Шуйский видел все это, слышал и холодел до мурашек. Пока стан готовился ко сну, пошел на берег Оки.

Об Агии думал: пригодилась его наука, посрамил глазастых, не дал Господь Бог ударить лицом в грязь перед низкородной сволочью.

Был час благодарения ушедшему дню. Белое солнце стояло над лесом, отражаясь в реке длинной, бледно позлащенной полосой. Насупротив, над великим полем и над той же рекой, которая приходила из-под синей, густеющей с каждым мгновением дымки, стояла круглая луна. Она казалась отцветшей, не желала огорчать солнце, да впереди у нее была ночь.

Князь резко обернулся – Годунов. Бесшумней тени подошел.

– Люблю Оку, – сказал Борис Федорович и засмотрелся на реку. – А от луны дорожки нет... Не знал, что ты такой стрелок!

– Я не хотел обидеть Бельского.

– Ему наука... – пронзительно посмотрел в глаза Василию Ивановичу. – Думаешь, я о Батории весть привез?

– Не знаю.

– В Холмогорах английского гонца Сильвестра вместе с сынишкой молнией убило. Не угодно Господу, чтоб Иван Васильевич за море от нас убежал.

Шуйский молчал, но сам знал: нельзя. Выдавил из себя, как из-под жернова:

– Слава Богу!

– Какая уж тут слава! – сказал Годунов, и тоска была в его голосе неделаная. – Годика через два, через три отдаст царь топор, кого теперь возлюбил... Помнишь, я говорил: любовь у Ивана Васильевича, как заячий хвост. Никогда об этом не забывай.

– Мне на службу пора, – сказал Шуйский.

– Я ведь ныне тоже великому государю слуга. Иван Васильевич в кравчие* меня пожаловал. – И, видя, как обомлел князь, прибавил: – Ты в головах, слышал, спишь у царя.

– В головах, – ответил Василий Иванович, чувствуя, как струйками льется из-под мышек холодный пот.

Утром пировавшие с Иваном Васильевичем смотрели на него вопрошающе, но не видели в нем похмельного страдания. Одни удивлялись, другие задумывались.

В царском шатре было прибрано, все золото выставлено: царские большой и малый саадаки, кубки, братины, тарели. Иван Васильевич ждал посла австрийского императора Максимилиана.

Поглядел, как и что поставлено, и, пройдя по шатру, многое переворочил, чтоб иное, весьма драгоценное, пребывало в небрежении, будто наспех кинута. А вот большой саадак велел поставить на самое видное место, чтоб тотчас в глаза кинулся. Шуйскому подмигнул.

Посол приехал в полдень. Передал грамоту, в которой император Максимилиан сообщал Ивану Васильевичу весть устарелую: «Ты давно уже знаешь, что мы в декабре с великою славою и честью выбраны на королевство Польское и Великое княжество Литовское. Думаем, что вашему пресветлейшеству то будет не в кручину». И, всячески увещевая, просил не трогать убогой Ливонии.

– Что ж ты с такими грамотами ездешь? – укорил посла Иван Васильевич. – Турецкий посаженник семиградский князек Стефан Баторий еще восемнадцатого апреля въехал в Краков, а первого мая короновался, уже и свадьбу успел сыграть... Шерелефединов, прочитай великому послу ответную нашу грамоту.

Дьяк Шерелефединов, бывший в походе первым среди думных, огласил ответ московского великого князя государя царя всея Руси на послание императора Максимилиана:

– «Мы твоему избранию порадовались, но после узнали, что паны мимо тебя выбрали на королевство Стефана Батория, воеводу семиградского, который уже приехал в Краков, короновался и женился на королевне Анне, и все паны, кроме троих, поехали к нему. Мы такому непостоянному разуму у панов удивляемся. Чему верить, если слову и душе не верить? Так ты бы, брат наш дражайший, промышлял о том деле поскорее, пока Стефан Баторий на тех государствах крепко не утвердился. И к нам отпиши со скорым гончиком, с легким, как нам своим и твоим делом над Польшею и Литвою промышлять, чтоб те государства мимо нас не прошли и Баторий на них не утвердился. А тебе самому хорошо известно, если Баторий на них утвердится из рук мусульманских, то нам, всем христианским государям, будет к великому убытку».

– Польские паны вид имеют весьма гордый, – прибавил Иван Васильевич, – перевидел я их, но все они – шуты. Коли еще не погубили своего отечества вконец, так погубят, дай им

только срок. А ты, великий посол, передай своему пресветлому монарху мою горькую братскую укоризну. Не поторопился корону взять – другому на голову попала. Баторий столько вдруг получил, что будет всеми копытами землю рыть, лишь бы усидеть на царстве. От него надо ждать большой беды, коли твой повелитель, а мой брат, попустит, даст своему обидчику начать войну. Баторию другого и не остается, как иначе панов да шляхту к себе привязать!.. Я отправляюсь в поход и жду брата моего в броне и с мечом в чистом поле против общих недругов. Скачи, бога ради, скорее к своему великому государю.

Иван Васильевич, проводив посла, помолодел. В глазах быстрая мысль, вкрадчивый шаг поменялся на широкий, стремительный.

– Собирайте шатры! Девлет-Гирей еще не отдышался после астраханской встряски... Скарб в Кремль везите. Семиону Бекбулатовичу, думаю, наскучило на царстве дремать. Это мне, грешному, не тяжело сорок лет воз на себе везти.

И, видя во взглядах слуг своих вопрос и страх, сказал, пофыркивая:

– Я уже отправил гонца к боярам и к Семиону Бекбулатовичу: даны ему, великому князю, в удел Тверская земля и славный город Тверь.

24

В апреле 1577 года царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси с сыном, царевичем Иваном Ивановичем, и со всеми боярами, прося у Бога милости, приговорил идти очищать свою отчину – Лифляндскую землю.

В поход отправились по сухой летней дороге. В головах у царя теперь спали другие люди: Андрей Трубецкой, Андрей Куракин, Григорий Долгорукий... Братья Шуйские, как и прежде, были рындами при больших саадаках – Василий у царя, Андрей у царевича.

А князя Ивана Петровича Шуйского, наместника псковского, записали вторым воеводой в большом полку. Полк вел Семион Бекбулатович Тверской.

Это был первый дальний поход для братьев Шуйских. Постояли несколько дней в Новгороде, перешли во Псков.

Князь Иван Петрович был рад принять своих родственников – братьев Шуйских в своем воеводском доме. (Царь занял архиерейские палаты.)

– С Василием мы друзья, а каков ты? – говорил он князю Андрею, и было видно, второй из Шуйских нравится ему. Ростом выше старшего брата, взор серых глаз умный, строгий. – Пришла и вам пора тупить мечи о шеломы государевых недругов.

– Нет во мне страха, да только в голову не возьму, как же одолевают каменные крепости? – признался князь Андрей. – Погляжу на стены Пскова – ведь громада. Пушки картечью палят, стрелки в упор стреляют... А ливонские замки небось высоки, хоть глаза зажмурь...

– На то мы и князя, чтоб стены ломать.

– Кольвань много страшнее Пскова?

– Это у страха глаза велики. Крепость как крепость.

– Зимой князь Мстиславский под Кольванью полтора месяца простоял да и пошел себе ни с чем, – сказал князь Василий.

– У Мстиславского пушек было мало. Четыре стенобитных да двадцать четыре мелкого и среднего боя. В Кольвани наряда оказалось впятеро больше.

– А ядра стенобитных пушек по сколько весят? – спросил князь Андрей.

– Пудов по шесть, по семь... Тяжело Ливонская война дается... Князь Мстиславский, может, и взял бы проклятую Кольвань, да перебежали от него к немцам четверо полковников: Таубе, Крузе, Фаренсбах, Вахтмейстер... Государь их любил, жаловал... А они все подкопы указали.

– Не взяли Кольвань, так Пернау одолели! – сказал горячо князь Андрей.

– Больно цена велика за Пернау. Семь тысяч человек положили. А Никита Романович, добрая душа, даже не осерчал, выпустил горожан со всем их добром.

– Батюшка наш на городской стене погиб. Взойти взошел, да тут его и поразили, – перекрестился князь Василий.

– Знаю, как было дело. – Иван Петрович тоже перекрестился и поглядел на братьев грустными глазами. – Что вам посоветовать? Не горячитесь. Не бросайтесь сломя головы прочь от опасности, на рожон не скачите. Сначала надо увидеть, где враг, сколько врага. Вот это накрепко запомните: сначала надо увидеть врага, а потом уж, сообразив, делать дело.

Князь угостил братьев домашним обедом. Воеводша выходила, подносила братьям вина, а провожая, благословила ладанками, освященными самим Микулой Святом. Женщина простая, искренняя, сказала, поднося чарочки на посошок, без задней мысли:

– Да хранит Господь старших Шуйских.

Князь-то Иван Петрович был по родовитости меньше Василия, меньше Андрея и равен третьему Шуйскому из Иванычей – Дмитрию.

Из Пскова выступили первого июля, в день памяти бессребреников Космы и Дамиана*, в Риме пострадавших.

– Не пострадать бы и нам в Кольвани, – говорили между собой ратники.

Но царь Иван Васильевич на Кольвань не пошел, ударил неожиданно-негаданно на польскую Ливонию. Видно, ждал, что император Максимилиан тоже на короля Батория ополчится. Ведь с его, Максимилиановой, головы Баторий корону сдернул.

Гетман Литовский Ян Карл Ходкевич, увидевши перед собой полки Ивана Грозного, увел малочисленное войско в глубь Литвы. Большого сражения не случилось, и уже 8 июля русский царь без особых хлопот подошел к городу Влеху.

– Да не будет первый блин комом! – сказал Иван Васильевич и сам поехал поглядеть крепость, подходы к стенам и башням.

Вместе с государем в разведку отправились бояре: князь Иван Петрович Шуйский, Никита Романович Юрьев, князь Василий Андреевич Сицкий, окольный князь Петр Татев да стрелецкий голова князь Никита Трубецкой со своей сотней. Среди ближних людей государя был князь Василий Иванович Шуйский.

Крепость издали смотрелась как новая игрушка, не побывавшая в детских руках.

– Стенам года нет, – сказал Иван Петрович. – Зубцы не все кончены.

– За сколько возьмем, воеводы? – сверкнул глазами Грозный.

Никита Романович сделал суровое лицо, но, по своему обыкновению, промолчал.

– Государь, – ответил Иван Петрович, – крепости не камнем крепки – людьми. Как стоять будут. Таковую крепость и за месяц не возьмешь, а можно и за день управиться.

– Управься, Иван Петрович, моля Бога, за день! – Грозный вытянул из плеч голову, как это делают хищные птицы, поглядел на бояр. – За день! Нынче ради Знамения Благовещенской иконы Божией Матери Устюжской дадим сему граду мир, ибо блаженный Прокопий молился о спасении града Устюга, а вот послезавтра, в день памяти святого Антония, пусть будет всему нашему войску и всему нашему царству радость.

Постарались царские рати, поднесли государю город 10 июля. Первым в крепость пробился рязанский дворянин Федор Ляпунов. Его и оставил великий государь воеводой Влеха.

Следующий город, Лужу, взяли 24 июля. 29-го – Резицу.

Девятого августа войско подошло под Невгин. Царь послал в город своего думного дворянина Михайлу Безнина, и староста сдал город без боя. Двенадцатого августа без боя же обрели город Крузборх. Пятнадцатого Петр Нащокин ездил требовать ключи от Левдуна. Ключи левдунские немцы Нащокину отдали, но сами город покинули. Царь разгневался и приказал Левдун разорить, чтоб на сим месте впредь не селились. Все припасы велено было собирать и везти к Чествину.

Царские отряды разошлись по стране, занимая селения и города. Воевода Салтыков с нарядом Астафья Пушкина взял Голбин. И Грозный царь опять повелел: городу тут впредь не быть, всякие запасы доставить в Чествин.

Двадцать первого августа воевода Ельчанинов приступом одолел город Пиболду. Ему тот же указ: город разорить, запасы отвезти опять-таки в Чествин.

Двадцать пятого августа великий государь Иван Васильевич посылал под город Кукунос окольного Петра Татова да Баима Воейкова. Через день Петр и Баим сообщили: кукуносские люди и королевские немцы в город их пустили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.